



**КУРТ**

**ВОННЕГУТ**

*ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ,  
МИСТЕР РОЗУОТЕР*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

## Annotation

Что ни говори, неплохо быть мультимиллионером – устраивать благотворительные собрания, открывать торжественные мероприятия... да просто помогать нуждающимся. Только вот мистер Розуотер явно какой-то странный богач. Он помогает всем и каждому, то есть АБСОЛЮТНО всем, без разбора – только попроси! Впрочем, он раздает деньги даже тогда, когда его об этом не просят. Такое положение, конечно, нетерпимо, и семья, наняв ловкого юриста, пытается признать Розуотера психически неполноценным.

Но так ли он слабоумен, как кажется людям?

---

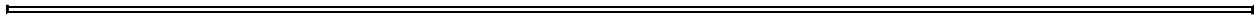
- [Курт Воннегут](#)

- 
- 
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [8](#)
- [9](#)



# Курт Воннегут

## Дай Вам Бог здоровья, мистер Розуотер

Kurt Vonnegut  
God Bless You, Mr Rosewater e-book

Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD. Copyright © 1965 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved

© Перевод. Р. Райт-Ковалева, наследники, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

\* \* \*

*Элвину Дэвису, телепату, другу всякого сброда*

*Окончилась Вторая мировая война, и вот я в полдень иду через Таймс-сквер, и на груди у меня орден Алого Сердца.*

*Элиот Розуотер, президент Фонда Розуотера*

Хотя это повесть о людях, главный герой в ней – накопленный ими капитал, так же как в повести о пчелах главным героем мог бы стать накопленный ими мед.

К 1 июня 1964 года этот капитал выражался в сумме 87 миллионов 472 тысячи 33 доллара и 61 цент. Берем этот день, потому что именно тогда эта сумма предстала перед задумчивым взором жуликоватого юнца по имени Норман Мушари. Прибыль с этой весьма привлекательной суммы равнялась трем с половиной миллионам в год, то есть примерно десяти тысячам долларов в день, считая и воскресенья.

В 1947 году, когда Норману Мушари было всего шесть лет, этот капитал лег в основу некоего благотворительного и культурного фонда. До этого весь капитал принадлежал семейству Розуотеров и занимал четырнадцатое место в ряду крупнейших состояний Америки. Деньги эти были помещены в особый Фонд с той целью, чтобы налоговая инспекция и всякие другие хищники, не из породы Розуотеров, не могли наложить на них лапу. Весь устав Фонда был составлен весьма замысловато и хитроумно: он гласил, что место Президента Фонда переходит по наследству, как королевский престол Великобритании. Оно неизменно во все времена закреплялось за самым старшим из прямых наследников основателя Фонда Листера Эймса Розуотера, сенатора от штата Индиана.

Родные братья и сестры Президента Фонда по достижении совершеннолетия тоже получали пожизненные места в правлении Фонда, если только закон не признавал кого-нибудь из них психически неполноценным. За свою деятельность они имели право широко пользоваться деньгами Фонда, но лишь из дивидендов Фонда.

Как того требовал устав, наследникам сенатора строго воспрещалось трогать основной капитал Фонда. Ответственность за капитал была возложена на другую организацию, созданную одновременно с Фондом, она носила весьма выразительное название Корпорации Розуотера. Как большинство корпораций, она стремилась к постоянному и не зависящему от любых колебаний наращиванию капитала. Служащим Корпорации платили большие деньги. Вследствие этого они были чрезвычайно изворотливы, энергичны и довольны жизнью. Главным их занятием было подрывать акции и шеры других корпораций, второстепенным же занятием

было управление деревообделочным заводом, спортивным комплексом, мотелем, банком, пивоваренным заводом, огромными фермами в округе Розуотер в штате Индиана и несколькими угольными шахтами на севере штата Кентукки.

Розуотеровская Корпорация занимала два этажа в доме номер 500, на Пятой авеню, в Нью-Йорке и, кроме того, имела филиалы в Лондоне, Токио, Буэнос-Айресе и в округе Розуотер. Ни один из членов Фонда Розуотера не имел права давать розуотеровской Корпорации советы относительно помещения основного капитала. А Корпорация, с другой стороны, не имела права указывать Фонду, что делать с огромными прибылями, которые Корпорация зарабатывала для Фонда.

Все эти данные дошли до сведения молодого Нормана Мушари, когда, окончив одним из первых юридический факультет Корнельского университета, он поступил на работу в адвокатскую контору в Вашингтоне, которая выработала уставы Фонда и Корпорации, в фирму «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги». Мушари был ливанцем по происхождению, сыном бруклинского торговца коврами. Ростом он не вышел, всего пять футов с лишним, зато задница у него была огромная и так и лоснилась, когда он раздевался. Он был самым низкорослым, самым молодым и, что ни говори, наименее англосаксонским служащим в своей конторе.

Работал он под началом старейшего партнера фирмы, Тэрмонда Мак-Алистера, кроткого милого старичка семидесяти шести лет. Нормана никогда не взяли бы на службу, если бы остальные компаньоны не решили, что хорошо бы помочь Мак-Алистеру взять в делах более жесткий курс.

Никто никогда не приглашал Мушари позавтракать вместе. Он питался в одиночку, в дешевых кафе, упорно думая, как бы сокрушить Фонд Розуотера. Знакомых среди Розуотеров у него не было. Волновало его только то, что капитал Розуотеров был самым крупным кушем, которым ведала фирма «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги». Мушари хорошо понимал, что ему однажды внушал его любимый профессор Ленард Лич<sup>[1]</sup>. Объясняя ему, как сделать карьеру на юридическом поприще, Лич говорил, что совершенно так же, как хороший пилот все время должен высматривать место для посадки самолета, хороший адвокат должен ловить случай, когда большие капиталы переходят из рук в руки.

– При всякой крупной сделке, – говорил Лич, – наступает магический момент, когда один человек уже выпустил капитал из рук, а тот, к кому должны перейти деньги, еще их не взял. Ловкий юрист должен воспользоваться этим моментом и завладеть капиталом хотя бы на одну

чудодейственную микросекунду, и оторвать хотя бы малую толику, передавая капитал другому владельцу. И если тот, кому причитается это богатство, не привык к большим деньгам, да еще страдает комплексом неполноценности и смутным чувством вины, как это бывает со многими людьми, адвокат вполне может присвоить чуть ли не половину куша, причем наследник еще будет слезно благодарить его за это.

Чем дольше Мушари рылся в секретной документации Фонда Розуотера, тем больше его охватывало волнение. Самой потрясающей ему казалась та графа устава, по которой любой член Правления Фонда, признанный ненормальным, немедленно выводился из состава Правления. В их конторе давно поговаривали, что сам Президент Фонда, Элиот Розуотер, сын теперешнего сенатора – форменный псих. Правда, его так называли как бы в шутку, но Мушари отлично знал, что шуточки до суда не доходят. Как только не называли Элиота сослуживцы – и «придурком», и «святым», и «трясуном», «чокнутым», а то и «Иоанном Крестителем», словом, по-всякому.

«Хорошо бы устроить этому типу судебную экспертизу», – рассуждал сам с собой Мушари.

По всем сведениям, следующий кандидат на пост Президента Фонда, какой-то кузен с Род-Айленда, был полным ничтожеством. И когда настанет магический момент, Мушари собирался представлять интересы этого кузена.

Мушари был начисто лишен музыкального слуха, а потому и не знал, что его сослуживцы по конторе дали ему кличку. Когда он входил или выходил, кто-нибудь начинал насвистывать всем известную песенку «Скок-поскок, молодой хорек!».

Элиот Розуотер стал Президентом Фонда в 1947 году. Когда Мушари занялся им, Элиоту было сорок шесть лет. Мушари был вдвое моложе Элиота и воображал себя таким маленьким Давидом, который решил прикончить Голиафа. Выходило, что чуть ли не сам Творец был на стороне маленького Давида, так как вскоре в контору, один за другим, стали поступать совершенно секретные документы, подтверждающие, что Элиот совершенно свихнулся.

В сейфе конторы под замком хранился, например, конверт за тремя печатями с распоряжением передать его в нераспечатанном виде тому, кто станет Президентом Фонда после смерти Элиота.

В конверте находилось письмо Элиота, и вот что там говорилось:

«Дорогой кузен или кто вы есть, поздравляю вас с выпавшей на вашу

долю огромной удачей. Живите весело. Может быть, перед вами откроются новые перспективы, если вы будете знать, кто до вас распоряжался и пользовался вашими несметными богатствами. Как и многие крупные американские состояния, капитал Розуотеров был накоплен унылым, страдавшим запорами молодым фермером, верующим христианином, который с самого начала Гражданской войны стал закоренелым спекулянтом и взяточником. Звали этого молодого фермера Ной Розуотер, родом он был из округа Розуотер и приходился мне прадедушкой.

Ной и его брат Джордж унаследовали от своего отца, переселенца-пионера, шестьсот акров пахотной земли, плодородной и жирной, как шоколадный торт, и маленький захудалый пилозавод. Началась Гражданская война. Джордж собрал роту стрелков и пошел с ней на фронт. Ной нанял деревенского дурачка, чтобы тот пошел воевать вместо него, а сам перестроил пилозавод и стал делать штыки и сабли, а на ферме начал откармливать свиней. Так как Авраам Линкольн заявил, что нельзя жалеть никаких затрат, когда речь идет о восстановлении Союза, Ной стал взвинчивать цены на свои товары тем выше, чем больше разрастались народные бедствия. И вот какое он сделал открытие: любой протест правительства – будь то по поводу цен или качества поставок – можно с легкостью отвести путем до смешного ничтожных взяток. Он женился на Клеоте Херрик, самой уродливой женщине во всем штате Индиана, потому что у нее было четыреста тысяч долларов. На ее деньги он расширил завод и скупил много ферм все в том же округе Розуотер. Он сделался самым крупным свиноводом на всем Севере. Для того чтобы не стать жертвой мясников, он купил контрольный пакет акций бойни в Индианаполисе. Опять-таки, чтобы не стать жертвой сталелитейщиков, он купил контрольный пакет акций сталелитейной компании в Питтсбурге. А чтобы не стать жертвой поставщиков угля, он скупил акции множества угольных шахт. И, чтобы не стать жертвой ростовщиков, он учредил собственный банк.

Эта его маниакальная боязнь – стать чьей-то жертвой – заставляла его все больше и больше заниматься ценными бумагами – акциями и шерами – и все меньше и меньше поставками свинины и оружия. Прodelав несколько мелких экспериментов с обесцененными бумагами, он убедился, что их тоже можно выгодно сбывать с рук. Он все еще продолжал подкупать государственных чиновников, благодаря которым он получал право владения национальными богатствами и сокровищами. Его основным увлечением стала перепродажа ценных бумаг.

Когда Соединенные Штаты Америки, которые должны были стать



настоящей Утопией для всех граждан, готовились праздновать свое столетие, то на примере Ноя Розуотера и нескольких других можно было ясно видеть, какую глупость сделали отцы-основатели в одном отношении: эти предки, жившие, к сожалению, совсем недавно, позабыли издать закон, по которому богатство любого гражданина Утопии, этой Земли Обетованной, должно было иметь свой предел. Вышел этот недосмотр потому, что многие питали сентиментальную симпатию к людям, любящим дорогие вещи, и при этом считали, что этот континент настолько велик и обилен, а население в нем хоть и небольшое, но весьма предприимчивое, что, сколько бы ни разворовывали страну ловкие воры, все равно особых неприятностей от этого никому не будет.

Ной и ему подобные раскусили, что на самом деле ресурсы страны ограничены, но что любого корыстного чиновника, особенно из законодательных органов, можно было легко уговорить, чтобы он расшвыривал изрядные куски земли – лови, держи! – и швырял их именно так, чтобы они попадали в руки таких же ловкачей, как он.

Так кучка жадюг во всей Америке стала распоряжаться всем, что того стоило. Так была создана в Америке дичайшая, глупейшая, абсолютно нелепая, ненужная и бездарная классовая система. Честных, трудолюбивых, мирных людей обзывали кровопийцами, стоило им только заикнуться, чтобы им платили за работу хотя бы прожиточный минимум. И они понимали, что похвал заслуживают только те, кто придумывает способы зарабатывать огромные деньги путем всяких преступных махинаций, не запрещенных никакими законами. Так мечта об американской Утопии перевернулась брюхом кверху, позеленела, всплыла на поверхность в мутной воде безграничных преступлений, раздулась от газов и с треском лопнула под полуденным солнцем.

Нет большей насмешки, чем писать на ассигнациях этой лопнувшей Утопии «E pluribus unum»<sup>[2]</sup>, потому что каждый до нелепости богатый американец есть воплощение той роскоши, тех привилегий и удовольствий, которые недоступны большинству. В свете истории гораздо более поучительным был бы лозунг, созданный всеми Ноями Розуотерами: *«Загребай сколько влезет, не то получишь шиш!!!»*

И Ной родил Сэмюэла, который взял в жены Джеральдину Эймс Рокфеллер. Сэмюэл интересовался политикой куда больше, чем его отец, неумоимо служил республиканской партии, создавая некоронованных королей, подбивал эту партию назначать на посты людей, умевших вертеться как дервиши, бегло вещать по-вавилонски и приказывать полиции стрелять в толпу, если какой-нибудь бедняк вообразит, что он и

Розуотер равны перед законом.

И Сэмюэл стал скупать не только газеты, но и проповедников. Он приказывал учить людей одной простой истине, и они хорошо всем внушали: *«Тот, кто воображает, что Соединенные Штаты Америки должны стать Утопией, – скотина, лентяй, безмозглый болван»*.

Сэмюэл орал, что ни один фабричный рабочий в Америке не стоит больше восьмидесяти центов в день. Но сам он был счастлив, что ему удалось выложить сто тысяч долларов, а то и больше, за картину итальянского художника, умершего лет триста тому назад. Еще оскорбительнее было то, что он жертвовал эти картины в музеи, чтобы способствовать духовному росту бедняков.

А музеи по воскресеньям были закрыты.

И Сэмюэл родил Листера Эймса Розуотера, который взял в жены Юнис Элиот Морган. Надо сказать, что Листер и Юнис – не то, что Ной с Клеотой или Сэмюэл с Джеральдиной. Они умели при случае и посмеяться, и как будто вполне искренне. Кстати, как примечание к семейной хронике можно добавить, что Юнис стала чемпионом Америки по шахматам среди женщин в 1927 году и снова – в 1933 году.

Кроме того, Юнис написала исторический роман про женщину-гладиатора *«Рамба из Македонии»*, и книга стала бестселлером в 1936 году. В 1937 году она трагически погибла в Котьюте, штат Массачусетс, когда ее яхта шла под парусом по заливу. Она была очень интересная, умная женщина и вполне искренне беспокоилась о судьбе бедняков. Юнис была моей матерью.

Ее муж, Листер, никогда не был дельцом. Со дня своего рождения до сегодняшнего дня, когда я пишу вам это послание, он всецело предоставил управление своими капиталами адвокатам и банкам. Почти всю свою взрослую жизнь он провел в Конгрессе Соединенных Штатов, проповедуя мораль сначала как представитель области, центром которой является город Розуотер, затем – как сенатор от штата Индиана. Разговоры о том, будто он и есть истинный «хужер» – коренной житель Индианы, – были просто нехитрой политической басней. И Листер родил Элиота.

Об унаследованном им состоянии, о тех обязанностях, той ответственности, которые на него возлагало его богатство, Листер думал примерно столько же, сколько любой человек думает о большом пальце на своей левой ноге. Этот капитал его и не трогал, и не интересовал, и не беспокоил. Он с легкостью отдал девяносто пять процентов этого капитала Фонду, которым Вы в настоящее время должны будете управлять.

Элиот женился на Сильвии Дюврэ-Зеттерлинг, красавице парижанке,

которая в конце концов возненавидела его. Мать Сильвии была меценатом, покровительницей художников. Ее отец был величайшим виолончелистом современности. Дед и бабушка с материнской стороны были из семейства Ротшильдов и Дюпонов.

А из Элиота вышел алкоголик, утопист-мечтатель, балаганный праведник, бестолковый глупец.

И родить он никого не родил.

Воп voyage<sup>[3]</sup> Вам, дорогой кузен или кто вы там есть. Будьте щедрым, будьте добрым. Можете благополучно забыть про искусство и науки. Никогда они еще никому не помогали. Будьте искренним, внимательным другом бедняков».

Подпись стояла такая:

*Покойный Элиот Розуотер.*

Сердце у Нормана Мушари забило тревогу. Он, обзаведясь специальным сейфом, вложил туда письмо Элиота. Недолго пролежит тут в одиночестве эта первая серьезная улика.

Сидя в своем закутке в конторе, Мушари вспомнил, что Сильвия сейчас подала на развод с Элиотом и что старый Мак-Алистер представляет интересы ответчика. Сильвия жила в Париже, и Мушари написал ей письмо, в котором напоминал, что обычно, когда стороны разводятся по обоюдному согласию, полагается возвращать друг другу письма. Он просил ее переслать письма Элиота, если они у нее сохранились.

Обратной почтой он получил пятьдесят три таких письма.

Элиот Розуотер родился в 1918 году в Вашингтоне. Как и его отец, который якобы был коренным «хужером», Элиот рос, и воспитывался, и развлекался на Восточном побережье Штатов и в Европе. Каждый год все семейство ненадолго приезжало в свои родные края, округ Розуотер, ровно на столько, чтобы как-то оправдать враки, что тут их «родной дом». Элиот окончил колледж без особых успехов в науке и поступил в Гарвардский университет. Он стал опытным яхтсменом, лето проводил в Котьюте, на мысе Код, а во время зимних каникул катался на лыжах в Швейцарии.

Восьмого декабря 1941 года он бросил юридический факультет Гарвардского университета и ушел добровольцем в пехотную часть армии США. Он отличился во многих боях. В чине капитана командовал ротой. Под конец войны в Европе Элиот заболел. Определили его болезнь как переутомление в связи с военной службой. Его отправили в Париж, в военный госпиталь. Там он познакомился с Сильвией и покорила ее сердце. После войны он вернулся в Гарвард со своей очаровательной женой, окончил юридический факультет, выбрал своей специальностью международное право, мечтал заняться полезной деятельностью в Организации Объединенных Наций. Он получил докторскую степень и одновременно стал президентом недавно учрежденного Фонда Розуотера. Согласно Уставу Фонда, он мог по своему усмотрению взять на себя и совершенно пустячные, и весьма значительные обязанности. Элиот решил подойти к делу со всей серьезностью. Он купил особняк в Нью-Йорке, с фонтаном в холле. В гараж поставили машины – «бентли» и «ягуар». Он снял целый этаж под контору в Эмпайр-стейт-билдинг. Стены его кабинетов были окрашены в лимонный, оранжевый и светло-серый цвет. Он объявил, что это учреждение станет генеральным штабом для претворения в жизнь его прекрасных благотворительных и научных планов.

Он много пил, но это никого не беспокоило. Выпить он мог сколько угодно, но никогда не пьянел.

С 1948 по 1953 год Фонд Розуотера израсходовал четырнадцать миллионов долларов. В благодеяния Элиота входила и постройка клиники для контроля рождаемости в Детройте, и покупка полотна Эль Греко для музея города Тампа, штат Флорида. Розуотеровские доллары шли на борьбу с раком, с психическими заболеваниями, с расовой дискриминацией,

произволом полиции и другими бесчисленными бедами. Фонд помогал университетским профессорам искать истину и покупал все прекрасное, не стесняясь в цене.

По иронии судьбы, одна из проблем, за изучение которой платил Элиот, была борьба с алкоголизмом в Сан-Диего. Но когда ему был представлен об этом доклад, Элиот был так пьян, что прочесть ничего не мог. Сильвии пришлось заехать за ним в его контору и отвезти домой. Человек сто наблюдало, как она вела его по тротуару к машине, а Элиот декламировал им куплетик, который он сочинял все утро:

Много-много доброго я купил,  
Много-много скверного сокрушил.

Два дня после этого Элиот провел в полном раскаянии и трезвости, после чего исчез на целую неделю. Между прочим, он ворвался без приглашения на конференцию авторов книг по научной фантастике в милфордском мотеле штата Пенсильвания. Норман Мушари узнал об этом случае из доклада, хранившегося в делах фирмы «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги» и сделанного частным сыщиком. Сыщик был нанят старым мистером Мак-Алистером и следовал за Элиотом, проверяя, не сделает ли он чего-нибудь незаконного, такого, что может потом вредно отразиться на делах Фонда.

В отчете было дословно приведено выступление Элиота перед писателями-фантастами. Вся конференция, включая и пьяную речь Элиота, была записана на пленку.

– Люблю я вас, чертовы дети, – сказал Элиот в Милфорде. – Только вас я и читаю. Только вы по-настоящему говорите о тех *реальных* чудовищных процессах, которые с нами происходят, только вы одни, в своем безумии, способны понять, что жизнь есть путешествие в космосе и что жизнь вовсе не коротка, а длится биллионы лет. Только у вас одних хватает мужества *по-настоящему* болеть за будущее, *по-настоящему* понимать, что с нами делают машины, что с нами делают войны, что с нами делают города, что с нами делают великие и простые идеи, что творят с нами потрясающее непонимание друг друга, все ошибки, беды, катастрофы. Только у вас хватает безграничной одержимости, чтобы мучиться над проблемами времени и бесконечности пространства, над бессмертными тайнами, над тем фактом, что именно сейчас мы должны решить – будет ли наше путешествие во вселенной адом или раем.

Потом Элиот заявил, что писатели-фантасты писать не умеют ни на грош, но тут же добавил, что это никакого значения не имеет. Он сказал, что они зато поэты, так как они тоньше чувствуют важные перемены, чем другие писатели, хотя те пишут хорошо. «К черту этих талантливых пердунчиков, которые так изысканно изображают какой-нибудь мизерный кусочек чьей-то одной куцей жизнишки, когда решается судьба галактики, эонов и миллиардов еще не рожденных душ».

«Как я хотел бы, чтобы тут присутствовал Килгор Траут, – продолжал Элиот, – и я мог бы пожать ему руку и сказать, что он величайший писатель современности. Мне только что сообщили, что он не смог приехать, потому что ему нельзя бросить работу! И какую же работу общество предоставило этому величайшему пророку? – Элиот даже задохнулся, у него не хватало духу выговорить, какую работу дали Трауту. – Он занимается гашением премиальных талончиков!!!»

Это была правда. Траут, автор восьмидесяти семи романов, вышедших в дешевых изданиях, был очень бедный человек, и никто, кроме любителей научной фантастики, о нем не знал. Когда Элиот так тепло о нем отозвался, ему уже пошел шестьдесят седьмой год.

– Через десять тысяч лет, – вещал на конгрессе Элиот, – имена полководцев и президентов будут забыты, и в памяти людей останется единственный герой нашего времени – автор романа «Бы-Тиль-Небыть».

Так называлась одна из книг Траута. И это название, при ближайшем рассмотрении, оказывалось началом знаменитого монолога Гамлета.

Мушари добросовестно стал искать эту книгу, чтобы ее включить в составленную им на Элиота документацию. Ни один уважающий себя книготорговец об этом Трауте никогда не слышал.

Мушари сделал последнюю попытку: стал рыться среди порнографических книжонок у продавца порнолитературы в подворотне. И там, среди всякого пакостного чтива, он нашел истрепанные книжки Траута – все, что тот написал. За «*Бы-Тиль-Небыть*», номинально стоившую двадцать пять центов, он заплатил пять долларов и столько же отдал за «*Камасутру*».

Мушари перелистал «*Камасутру*», издавна запрещенное восточное руководство по искусству и технике любви, и прочитал там следующее:

«Ежели мужчина сварит некое подобие студня из растений кассия фистула и эвгения джамболина, и разотрет в порошок растения вероника антиглистата, эклипса простата, лоджопия прыгата, и смесь эту возложит

на лобок женщины, с коей он вознамерился вступить в сношение, он незамедлительно перестанет испытывать к ней страсть».

Ничего смешного Мушари в этих наставлениях не увидел. Он вообще был лишен чувства юмора, так как его всецело поглощали вопросы юриспруденции, в которых, как известно, юмора маловато. Да и умишко у него было настолько куцый, что он вообразил, будто произведения Траута – очень-очень неприличная штука, раз их так дорого продают таким странным людям в таком странном месте. Он не мог понять, что с порнороманами у Траута общим были вовсе не рассказы о сексе, а мечты о каком-то фантастическом мире, где все тебе открыто.

\* \* \*

Перелистывая страницы сногшибательной прозы, Мушари чувствовал, что его обманули, он жадно выискивал что-нибудь насчет секса, а ему рассказывали про автоматику. Любимый прием Траута состоял в том, чтобы описывать совершенно гнусный общественный строй, довольно похожий на современное общество, а под самый конец предлагать способы, как улучшить эту жизнь. В романе «Бы-Тиль-Небыть» он рисовал гипотетическую Америку, в которой почти всю работу делали машины, и единственные люди, которые могли поступить хоть на какую-то службу, имели три докторские степени. Кроме того, страна была очень перенаселена. Никаких серьезных болезней уже не осталось, так что надо было умирать добровольно, и правительство для поощрения добровольцев-самоубийц воздвигало на каждом углу Салоны Самоубийств «Этика», крытые красной черепицей, и рядом, под оранжевыми крышами, ресторанчики фирмы «Говард Джонсон». В салоне хозяйничали прехорошенькие девушки, там царил уют, комфорт, и посетителям предлагалось на выбор четырнадцать способов легкой смерти. Салоны Самоубийств работали бесперебойно, потому что очень многим жизнь казалась глупой и бесцельной, а добровольная смерть считалась поступком самоотверженным и патриотическим. Перед самоубийством каждый получал бесплатное угощение в соседнем ресторанчике.

И так далее. Воображение у Траута было богатейшее. Один из клиентов спросил хозяйку салона, попадет ли он в рай, и она ответила, что он непременно попадет. Он спросил, увидит ли он Господа Бога, и она сказала:

– Ну конечно, миленький!

– Очень надеюсь, – сказал клиент, – уж очень мне охота спросить Его кое о чем. Тут, на Земле, ничего нельзя было узнать.

– А чего это вы хотите узнать? – спросила она, затягивая на нем ремешки.

– *На кой черт* нужны люди?

На конференции писателей-фантастов в Мил-форде Элиот сказал, что им было бы не вредно побольше знать и про секс, и про экономику, и про стилистику, но тут же добавил, что людям, которые по-настоящему занимаются серьезными проблемами, на такие мелочи времени не хватает. И тут он высказал предположение, что еще никто не написал настоящей, хорошей, серьезной, научно-фантастической книги про деньги.

– Вы только подумайте, как дико и бессмысленно распределяются деньги по всей Земле, – сказал он. – И вам вовсе не надо отправляться в антимир, скажем, в галактику 508-Г на планету Тральфамадор, и там искать каких-то сверхчудищ, облеченных невероятной властью! Посмотрите, какой властью обладает обыкновенный землянин-миллионер! Посмотрите на меня! Ведь я родился голым, как и все вы, но, Боже правый, друзья мои и ближние, ведь теперь я могу тратить тысячи долларов в день!

Он перевел дух и тут же на деле подтвердил свои слова, выписав каждому участнику съезда из грязноватой чековой книжки чек на двести долларов.

– *Вот* вам фантастика! – сказал он. – А завтра вы пойдете в банк, и все окажется реальностью. Разве это не безумие, что я могу так швыряться деньгами!

На секунду он потерял равновесие, пошатнулся, потом выпрямился и чуть не заснул стоя. С трудом открыв глаза, он проговорил:

– Я предоставляю вам, друзья мои и ближние, и особенно бессмертному Килгору Трауту вникнуть в те глупости, которые люди делают с деньгами, и потом придумать, как разумно распределять их.

Элиот, пошатываясь, ушел из Милфорда, доехал на попутных машинах до Суортмора, в штате Пенсильвания. Зайдя в небольшой бар, он объявил, что каждый, у кого есть значок добровольной пожарной дружины, может выпить за его счет. Потом он отчего-то расстроился, прослезился и стал жаловаться, что его мучает мысль о том, что возле густонаселенной планеты атмосфера все время пытается сожрать все, что дорого жителям этой планеты. Он, конечно, подразумевал нашу Землю и атмосферный кислород.

– Вы только подумайте, ребята, – сказал он, всхлипывая, – нас с вами



это ближе всего касается. А тут еще земное тяготение всех нас связывает. И мы с вами, мы, немногие счастливицы, мы входим в одно братство, мы-то и объединены общим важным делом – не дать этому проклятому кислороду соединиться с нашей пищей, нашим кровом, нашей одежей, погубить наших любимых. Понимаете, ребята, ведь я тоже был членом добровольной пожарной бригады, и я сейчас вступил бы в ее ряды, если бы в этом Нью-Йорке существовала такая гуманная, такая *человечная* организация.

Конечно, все это была чепуха – никогда Элиот пожарником не был. Ближе всего он соприкоснулся с этим делом, когда в детстве со всей семьей ненадолго приезжал в Розуотер, фамильные владения. Подхалимы-сограждане, желая подольститься к маленькому Элиоту, сделали его как бы «талисманом» добровольной пожарной бригады. Ни одного пожара он не тушил.

– Я вам говорю, ребятки, – продолжал Эли-от, – если эти азиаты налетят на нас на своих летучих дредноутах и остановить мы их не сможем, все наши ублюдки-пустомели, которые знали, как лизать зад у кого надо, а потому и заняли все теплые местечки, все они встретят налетчиков с распростертыми объятиями, на любую работу согласятся, чего только те не потребуют. А знаете, кто схоронится в лесах с охотничьими ножами и винтовками, кто будет драться до последнего конца, клянусь Богом? Знаете кто? Добровольные пожарные бригады, вот кто!

В Суортморе Элиот попал в кутузку за буйное поведение в нетрезвом виде. Когда он проспался на следующее утро, полиция позвонила его жене. Он попросил у нее прощения и смиренно приполз домой.

Но через месяц он опять удрал, целую ночь бражничал с пожарными в Кловерлике, в Западной Виргинии, а на другой день пил в Новом Египте, штат Нью-Джерси. Во время этой вылазки он обменялся одеждой с одним пожарником, отдал ему свой костюм ценой в четыреста долларов за двубортный пиджак образца 1939 года, синий в белую полосочку, с плечами высотой со скалы Гибралтара, отворотами, похожими на крылья архангела Гавриила, и брюки с намертво застроченной складкой.

– Спятил ты, вот что, – сказал Элиоту этот пожарник.

– Не хочу быть таким, как я, – ответил Эли-от, – хочу быть таким, как ты. Ты – соль земли, клянусь честью! В тебе все то, чем славится Америка. Все вы, на ком такая одежда, – душа американской пехоты.

Так Элиот постепенно обменял свой гардероб, кроме фрака, смокинга и одного серого фланелевого костюма. Его шестнадцатифутовый шкаф превратился в плачевную выставку комбинезонов, свитеров, фуфаяк,

старых роб, курток, тельняшек, солдатских рубаш и так далее. Сильвия хотела все это сжечь, но Элиот сказал:

– Лучше сожги мой фрак, мой смокинг, да и серый костюм тоже.

Уже тогда Элиот явно был тяжело болен, но никто не подумал заставить его лечиться, и никого еще не осенила мысль о тех выгодах, которые можно получить, если объявить Элиота сумасшедшим.

Маленькому Норману Мушари тогда было всего двенадцать лет. Он строил модели аэропланов из пластика, занимался онанизмом и обклеивал стены своей комнаты портретами сенатора Джо Маккарти и Роя Коуна. Об Элиоте Розуотере он и слыхом не слыхал.

Сильвия выросла среди богатых, эксцентричных и очаровательных людей, и ее европейское воспитание не позволяло ей даже подумать о том, чтобы отправить Элиота в психбольницу. А сенатор, его отец, был всецело поглощен делом своей жизни – политической борьбой – и собирал реакционные силы республиканской партии, разбитые на выборах президента Эйзенхауэра. Когда сенатору рассказали о нелепой жизни Элиота, он заявил, что его это не беспокоит, потому что его сын – человек, хорошо воспитанный.

– У него основа крепкая, стержень в нем есть, – сказал сенатор. – Занимается экспериментами, и всё. Одумается, когда время придет. Никогда в нашей семье не было и не будет хронических пьяниц или хронических психопатов.

Высказавшись в таком духе, сенатор отправился в зал заседаний Сената, где выступил с речью о Золотом веке Римской империи; в этой речи, получившей довольно широкую известность, он, в частности, сказал следующее:

– Мне хотелось бы упомянуть об императоре Октавиане, более известном под именем Цезаря Августа. Этот великий гуманист, а он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова, взял бразды правления Римской империи в период глубокого упадка, поразительно схожего с упадком нашего времени. Проституция, разводы, алкоголизм, либерализм, гомосексуализм, порнография, аборты, подкуп, разбой, рабочие бунты, преступность среди несовершеннолетних, трусость, атеизм, шантаж, клевета и воровство расцветали пышным цветом. Рим стал таким же раем для гангстеров, развратников и разленившихся рабочих, каким теперь стала Америка. Как и сейчас, в Америке, чернь открыто нападала на защитников закона и порядка, дети никого не слушались, не уважали родителей, не уважали свою родину, а порядочной женщине на улице проходу не было,

даже среди бела дня! И везде верховодили, всех подкупали хитрые, пронырливые иностранцы. И под пятой столичных ростовщиков корчились честные римские фермеры, хребет римской армии, душа и опора Римской империи.

Что же можно было предпринять? Конечно, и тогда нашлись тупоголовые либералы, вроде наших теперешних пустоголовых либералишек, и говорили они то же самое, что и всегда говорят либералы, после того как доведут страну до такого состояния, когда в ней царят беззаконие, сибаритство и полиглотство: «Лучшей жизни никогда не бывало! Поглядите, какое равенство! Взгляните, как отсюда изгнали сексуальное ханжество. Красота! Раньше у человека все внутри холодело, стоило ему только подумать о насилии, о прелюбодеянии! А теперь делай что хочешь и радуйся!»

Но как же относились к этим веселым временам Римской империи мрачные и суровые пуритане-консерваторы? Мало их тогда осталось. Они постепенно вымирали, став к старости посмешищем. Их детей восстановили против отцов либералы и все поставщики синтетических радостей, синтетической лжи, все политические голые короли, защитники даровщины, те, что любили всех одинаково, включая и всех варваров, и варваров они до того обожали, что готовы были открыть им все ворота, заставить солдат сложить оружие – дорогу варварам!

Вот в какой Рим вернулся Цезарь Август, победивший тех двух сексуальных маньяков – Антония и Клеопатру – в грандиозном морском бою при Акциуме. Не пытайтесь угадать, какие мысли ему приходили в голову при виде Рима, которым он был призван повелевать. Объявим минуту молчания, и пусть каждый как следует поразмыслит о той неразберихе, что царит у нас самих на сегодняшний день.

Все помолчали примерно полминуты, хотя многим показалось, что прошло тысячелетие.

– Какие же меры принял Цезарь Август, чтобы навести порядок в этом разваленном доме? А сделал он то, чего, как нам вечно твердят, никак и никогда делать нельзя, и ничего из этого выйти не может: он создал моральный кодекс и вводил беспощадные законы морали жестоким полицейским насилием, и его полицейские были суровы и шутить не любили. Он объявил вне закона тех римлян, которые вели себя как свиньи. И римлян, которых уличали в свинском поведении, вешали за ноги, сбрасывали в колодцы, скармливали львам – словом, применяли к ним те

меры, которые должны были пробудить в них желание вести себя пристойно и благонамеренно. Что же, помогало это или нет? Готов заложить последнюю пару башмаков – еще как помогало! Всех этих скотов как ветром сдуло. А как теперь мы называем годы, наступившие после этих немыслимых в наше время насилий? Не более и не менее, друзья мои и ближние, как «Золотой век Римской империи»!

Что же, неужели я стараюсь внушить вам, что надо следовать этому жестокому примеру! Да, конечно! Дня не проходит без того, чтобы я, в тех или иных словах, не говорил: «Давайте заставим американцев стать такими, какими они должны быть». Стою ли я за то, чтобы негодяев-лейбористов скормливать львам? Могу доставить хоть маленькое удовольствие тем, кто хочет видеть во мне бронтозавра в первобытной чешуе, и подтверждаю: да, стою. Твердо, безоговорочно. Скормить сегодня же к вечеру, если можно. Но все же придется разочаровать моих критиков: конечно, я шучу. Меня ни в коей мере не привлекают жестокие и необычные способы наказания. Отнюдь! Я просто восхищаюсь, когда вспоминаю, что политика морковки и палки может заставить осла работать и что сделанные этим ослом открытия в наш космический век могут пойти на пользу человечеству.

И так далее. Сенатор сказал, что политика палки и морковки была положена в основу системы свободного предпринимательства еще со времен отцов-основателей, но что всякие благодетели рода человеческого, считая, что нечего людям бороться и добиваться, изгадили эту систему до полной неузнаваемости.

– Подводя итоги, – сказал сенатор, – я вижу перед нами две возможности. Мы можем составить Кодекс моральных законов и силой навязывать эти законы, или мы можем вернуться к системе свободного предпринимательства, в которой воплощена и справедливая догма Цезаря Августа: «Тони или выплывай». Я решительно поддерживаю вторую возможность. Мы должны проявить твердую волю, чтобы снова стать нацией пловцов, и пусть не умеющие плавать спокойно идут ко дну. Я рассказал вам о жестоком веке древней истории. Но на тот случай, если вы забыли, как назывался этот век, позвольте освежить вашу память. «Золотой век Римской империи», друзья мои и ближние, «Золотой век Римской империи»!

Быть может, друзья помогли бы Элиоту выйти из тяжелого состояния,

но друзей у него не осталось. Богатых приятелей он оттолкнул, непрестанно повторяя, что их богатство досталось им случайно и незаслуженно, а своих приятелей-художников уверял, что только толстозадые болваны-богачи, для которых это – единственный вид спорта, интересуются их искусством. А своих ученых друзей он спрашивал:

– По-вашему, у людей есть время читать всю эту нудную муру, которую вы печатаете, и слушать ваши нудные лекции? – Когда же он стал восторженно благодарить своих друзей естествоиспытателей за изумительные научные открытия, о которых он постоянно читает в газетах и журналах, и совершенно серьезно уверять этих ученых, что благодаря науке жизнь становится все лучше и лучше, эти люди тоже стали его избегать.

Потом Элиот неожиданно обратился к психоаналитику. Он бросил пить, снова стал заботиться о своей внешности, снова проявил горячий интерес к искусству и науке, снова сблизился со многими друзьями.

Сильвия была счастлива как никогда. Но через год после начала лечения ее ошеломил звонок психоаналитика. Он отказывался от своего пациента, потому что, согласно жестким канонам школы Фрейда, Элиот лечению не поддавался.

– Но ведь вы его уже вылечили!

– Дорогая моя, если бы я был голливудским шарлатаном, я скромно признал бы свои заслуги, признал бы вашу оценку, принял бы вашу похвалу. Но я не знахарь. У вашего мужа тяжелейший, глубинный, совершенно неподступный, скрытый невроз, такого я еще в своей практике не встречал. Я даже представить себе не могу, в чем природа этого невроза. За целый долгий год лечения мне не удалось ни на йоту пробить его защитный панцирь.

– Но он всегда возвращается от вас в чудесном настроении!

– А вы знали, о чем мы разговариваем?

– Я считала, что лучше его не расспрашивать.

– Об американской истории! Элиот – тяжело больной человек, к тому же он убил свою мать, а отец у него – настоящий тиран. И о чем же он говорит, когда я прошу его дать волю свободным ассоциациям, потоку сознания? Об истории Америки!

Утверждение доктора о том, что Элиот убил свою обожаемую мать, в какой-то мере соответствовало истине. Когда ему было девятнадцать лет, он пошел с матерью на яхте по заливу Котьют. Он переложил кливер, и тут бимс сбил Юнис Розуотер с палубы, и она камнем пошла ко дну.

– Спрашиваю его, кого он видит во сне, – продолжал доктор, – а он мне отвечает: «Сэмюэла Гомперса, Марка Твена, Александра Гамильтона!» Спрашиваю, когда-нибудь он видит во сне отца? Нет, говорит, зато Торстейн Веблен<sup>[4]</sup> мне снится очень часто. Миссис Розуотер, я сдаюсь. Я отказываюсь его лечить.

Пожалуй, Элиота даже позабавил отказ доктора.

– Он не понимает этот мой способ лечения и потому отказывается принять его, – заметил Элиот вскользь.

В тот же вечер они с Сильвией поехали в Метрополитен-опера на премьеру новой постановки «Аиды», Фонд Розуотера заплатил за декорации и костюмы.

Элиот был изумительно элегантен – высокий, во фраке, с приветливой улыбкой на широком порозовевшем лице, с лучистыми голубыми глазами, которые так и сияли в полном душевном покое. Все шло прекрасно до последнего акта оперы, когда героя и героиню запирают в герметически закрытое помещение, где им предстоит смерть от удушья. Когда обреченные любовники сделали глубокий вдох, Элиот крикнул им:

– Только не пытайтесь петь, дольше продержитесь!

Элиот встал, перегнулся через барьер ложи и начал уговаривать певца и певицу:

– Вы же про кислород ничего не знаете. А я знаю. Поверьте, вам сейчас нельзя петь!

Лицо Элиота вдруг побелело, потеряло всякое выражение. Сильвия дернула его за рукав. Он растерянно взглянул на нее и дал себя увести безо всякого сопротивления – казалось, что она ведет на веревочке воздушный шарик.

Норман Мушари узнал, что в тот вечер, когда давали «Аиду», Элиот снова исчез, выскочив из машины на углу Сорок второй улицы и Пятой авеню, когда они ехали домой.

Десять дней спустя Сильвия получила следующее письмо, написанное на почтовой бумаге со штампом Добровольной пожарной бригады города Эльсинор, штат Калифорния. Очевидно, название городка повлияло на его раздумья о себе, потому что он в чем-то отождествлял себя с шекспировским Гамлетом:

*Милая Офелия!*

*Эльсинор оказался вовсе не таким, как я ожидал, а может быть, их несколько, и я попал не в тот Эльсинор. Правда, школьная команда футболистов назвалась «Смелые датчане». Но вся округа зовет их «Унылые датчане». За три последних года они выиграли один раз, сделали ничью тоже один раз и проиграли двадцать четыре матча. Впрочем, проигрыш неизбежен, когда в полузащиту становится Гамлет.*

*Когда мы ехали в машине, ты мне сказала напоследок, что нам, по-видимому, надо развестись. Я до сих пор не понимал, что жизнь со мной стала для тебя настолько тягостной. Зато понимаю, что я ничего не понимаю: например, я все еще никак не могу понять, что я и вправду алкоголик, хотя первый встречный сразу все видит.*

*Может быть, я лью себе, думая, что у меня много общего с Гамлетом, что и у меня есть важная миссия в жизни, хотя пока что я еще не знаю, как к ней подступиться. У Гамлета было большое преимущество передо мной: тень его отца точно объяснила ему, что надо делать, а я действую безо всяких инструкций. Но что-то мне подсказывает, куда идти, что там делать и зачем это нужно. Не пугайся, никаких голосов я не слышу. Просто чувствую, что есть у меня какое-то предназначение, далекое от той пустой и показной жизни, которую мы ведем в Нью-Йорке. Вот я и брожу.*

*Брожу...*

Для Нормана Мушари было большим разочарованием, когда он прочитал, что Элиот никаких «голосов» не слышит. Но в конце письма определенно чувствовалось безумие: Элиот подробно описывал все

пожарные машины Эльсинора, как будто Сильвии только это и было интересно:

*...Здесь машины покрашены в черную и оранжевую полосы, как тигры. Вид потрясающий. В воду они подбавляют химикалии, чтобы струя легче проникала сквозь деревянные стены в пламя пожара. Это, конечно, имеет смысл, если только от химикалий не портятся насосы и шланги. Эти средства стали применять не так давно, и пока их действие проверить трудно. Здесь пожарникам предложил посоветоваться с фирмой, изготавливающей насосы и шланги, и они обещали сделать запрос. Меня они считают очень знаменитым пожарным из столичных мест. Чудесные люди. Они ничуть не похожи на тех пердунчиков и попрыгунчиков, которые стучатся в двери Фонда Розуотера. Они такие, как те американцы, с которыми я встречался на войне.*

*Наберись терпения, Офелия.*

*Любящий тебя*

*Гамлет.*

Из Эльсинора Элиот отправился в Вашти, штат Техас, где его сразу арестовали. Он припелся к пожарному депо, небритый, немытый, и стал объяснять каким-то шалопаем, что правительство обязано разделить поровну все богатство страны, вместо того чтобы одни люди не знали, куда девать деньги, а другие нищенствовали. Он без умолку болтал что попало:

– Знаете, что должны были бы в первую очередь сделать наши вооруженные силы – наша армия, наш флот, наша авиация? Им следовало бы всех бедных американцев переодеть в чистую одежду, без заплаток, хорошо отглаженную, чтобы богатым американцам не стыдно было на них смотреть.

Он и про революцию говорил. Сказал, что наступит она лет через двадцать, и все пойдет отлично, если только во главе станут ветераны-пехотинцы и добровольные пожарные бригады.

Его посадили в тюрьму – подозрительная личность! Выпустили его после допроса, причем никто ничего не понял. Но с него взяли обещание – никогда больше в городе Вашти не появляться.

Через неделю он оказался в городе Новая Вена, в штате Айова. Оттуда он снова написал Сильвии на почтовом листке со штампом тамошней добровольной пожарной бригады. Он называл ее самой терпеливой женщиной на свете и обещал, что теперь ей недолго осталось ждать.



*Теперь мне ясно, – писал он, – куда я должен идти. И я отправлюсь туда как можно скорее! Оттуда я тебе позвоню! Быть может, я останусь там навсегда! Мне еще неясно, что я там должен делать, но я уверен, что и это скоро прояснится.*

*Пелена спадает с моих глаз!*

*Кстати, я сообщил здешней пожарной бригаде, что им надо бы тоже добавлять в воду химикалии, но сначала хорошо бы написать фирме, делающей насосы. В бригаде это предложение нашло отклик. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем собрании. А я уже шестнадцать часов не пью. И ничуть не страдаю без этой отравы! Привет!*

Получив это письмо, Сильвия тут же велела присоединить к своему телефону записывающее устройство (еще один козырь для Мушари). Сильвия пошла на это, решив, что Элиот окончательно спятил. Она хотела записать каждое слово, когда он позвонит, чтобы узнать, где он находится и в каком состоянии, тогда можно будет за ним приехать.

Вскоре он позвонил:

– Офелия?

– Элиот, Элиот! Милый, где ты?

– В Америке, среди рахитичных сынов и внуков первопоселенцев-пионеров.

– Но где же ты? Где же?

– Да где-то тут, в телефонной будке, алюминиевой, застекленной, и стоит где-то в Америке, а на серой полочке лежат американские монетки – всякая мелочь. На этой же серенькой полочке еще написано одно сообщение – вечным пером.

– О чем это?

– «Шейла Тэйлор – зануда – подразнит – и не даст!» Похоже на правду!

В трубке послышался нахальный гудок.

– Внимание! – сказал Элиот. – Автобус «Борзой» протрубил римскую зорю у автобусной станции, она же бакалейная лавочка. Ого! Старичок американец отозвался, вот он ковыляет к остановке. И никто его не провожает. А он и не оглянулся, видно, и не ждет, что кто-нибудь пожелает ему доброго пути. В руке у него пакет в оберточной бумаге, перевязан веревочкой. И едет он куда-то, а там, наверное, помрет. Прощается, как видно, с этим городком, другого он никогда не видал, и с этой жизнью, другой он не знал. Впрочем, ему не до того. Зачем ему прощаться со своей вселенной, ему бы только не рассердить могучего водителя автобуса. А тот

восседает на своем синем кожаном троне, смотрит сверху вниз, кипит от злости. Беда! Ну вот, влез старичок наконец, справился, а теперь никак не найдет билет! Ага, копался, копался и нашел. А водитель бесится. Дернул автобус так, что все заскрежетало. Вот какая-то старушка переходит дорогу, и гудок взревел на нее так, что стекла зазвенели. Злоба, злоба, злоба!

– Элиот, а там... там есть река?

– Моя телефонная будка стоит в широкой долине, где проходит открытая канава под названием река Огайо. Сама река отсюда миль в тридцати. В ней водятся огромные карпы, величиной с атомную подлодку, жиреют на помоях, которые выливают сыны и внуки первопоселенцев-пионеров. За рекой видны некогда зеленые холмы штата Кентукки, обетованная земля Дэниэла Буна<sup>[5]</sup>, ныне искромсанная и изрезанная открытыми шахтами, а владеет многими из этих шахт некий благотворительный и культурный Фонд, основанный интереснейшим старым американским семейством по имени Розуотеры.

На противоположном берегу реки владения Фонда несколько разбросаны. Зато миль на пятнадцать вокруг моей телефонной будки, куда ни пойдешь, почти все принадлежит Фонду Розуотера. Впрочем, одной чрезвычайно прибыльной торговли Фонд не коснулся: тут на каждом доме объявление: «Продаются дождевые черви-выползки». Главная здешняя промышленность – не считая свиней и дождевых червей – это производство пил. И разумеется, пилозавод тоже принадлежит Фонду. А так как пилы играют такую важную роль в здешней жизни, то спортивную команду средней школы имени Ноя Розуотера называли «Бойцы-пильщики». Но, в сущности, на пилозаводе людей уже осталось совсем мало, потому что завод почти полностью автоматизирован. Всякий, кто умеет нажать кнопку, может управлять заводом и делать двенадцать тысяч пил в день.

Мимо моей телефонной будки прогуливается сейчас молодой человек из команды «Пильщиков». Ему, вероятно, лет восемнадцать, одет в традиционные сине-белые цвета. С виду он довольно грозен, но, по-моему, и мухи не обидит. Самые лучшие отметки в школе он получал по гражданскому праву и по истории современной американской демократии, а преподавал у них эти предметы тренер по баскетболу. Ему хорошо известно, что, если он совершит какое-либо насильственное действие, он не только повредит всей Американской республике, но и окончательно погубит свою жизнь. Никакой работы для него в розуотеровских краях нет. Да и вообще ему везде чертовски трудно найти хоть какую-то работу. Он часто носит с собой в кармане презервативы, что очень многие считают предосудительным и гадким. Впрочем, тем же людям кажется и

предосудительным и гадким, что отец этого мальчика никаких предохранительных средств не употреблял. И вот растет еще один мальчишка, до мозга костей испорченный сытой послевоенной жизнью, еще один красавчик с жадными глазищами. Вот он встретил свою девочку, ей лет четырнадцать, не больше, этакая Клеопатра из мелочной лавчонки, тут бы – непечатное слово. По той стороне улицы – пожарное депо, четыре грузовика, три алкоголика, шестнадцать псов и один веселый трезвый малый с банкой полироля.

– Ах, Элиот, Элиот, вернись домой!

– Неужели ты ничего не поняла, Сильвия? Я же *дома*! Теперь я понял: мой дом всегда был тут, в городе Розуотере, в округе Розуотер, в штате Индиана.

– Но что ты там собираешься *делать*?

– Хочу *пригреть* этих людей.

– Как... как это мило! – беспомощно сказала Сильвия. Она была такая бледная, тоненькая, очень холеная и хрупкая. Она играла на арфе, прелестно болтала на шести языках. В детстве и юности она встречала в родительском доме самых знаменитых людей своего времени – Пикассо, Швейцера, Хемингуэя, Тосканини, Черчилля, Де Голля. Она никогда не бывала в Розуотере, понятия не имела, что такое «выползки», не знала, что на свете существует такой смертельно унылый край, что где-то живут такие смертельно скучные люди.

– Вот я и смотрю на этих людей, на этих американцев, – продолжал Элиот, – и вижу, что они ничего для себя сделать не могут, потому что они никому *не нужны*. И завод, и фермы, и шахты на том берегу – все полностью автоматизировано. Америка в них не нуждается, даже для войны – теперь прошло это время. Сильвия! Я хочу заняться искусством.

– Каким искусством?

– Да искусством любить этих выкинутых из жизни американцев. Хотя они такие бесполезные, такие непривлекательные. Вот *это* и станет моим искусством.

Холст, на котором Элиот задумал создать картину братской любви и взаимопонимания, то есть округ Розуотер, уже послужил полотном для других Розуотеров, которые смело расчертили этот прямоугольный кусок земли вдоль и поперек. Предшественники Элиота опередили даже самого Мондриана<sup>[6]</sup>. Половина дорог шла с востока на запад, другая половина – с севера на юг. По самой середине округа, до его границы, проходил загнивающий канал, длиной четырнадцать миль. Его прорыл прадед Элиота, и канал так и остался единственной реальной попыткой осуществить мечту пайщиков – соединить таким каналом Чикаго, Индианаполис, Розуотер и реку Огайо. Теперь в канале развелись карпы, красноперки, окуни и толстолобики. Охотникам до рыбной ловли и продавали червей для наживки.

Предки тех, кто теперь торговал выползками, были когда-то пайщиками акционерного общества «Розуотеровский судоходный канал», соединявший Чикаго, Индианаполис и Огайо. Когда планы общества окончательно потерпели крах, разорившимся пайщикам пришлось продать свои фермы. Их скупил Ной Розуотер. Так разорилась целая община на юго-западе округа под названием Новая Амброзия. Эти утописты вложили все свое состояние в постройку канала и все потеряли. Когда-то жители Амброзии, выходцы из Германии, жили коммуной, проповедовали атеизм, многобрачие, абсолютную честность, абсолютную чистоплотность и абсолютную любовь к ближнему. Теперь их развеяло по всему свету, как те обесцененные бумажки, их акции, вложенные в строительство канала. Никто об этих людях и не помнил. Единственный их вклад в жизнь всего округа остался и при Элиоте: выстроенная когда-то этими поселенцами пивоварня, на основе которой вырос знаменитый пивоваренный завод Розуотера «Золотая Амброзия». На этикетке был изображен сказочный город – земной рай, о котором мечтали первые поселенцы Новой Амброзии. Высокие шпили украшали город их мечты. На шпилях высились громоотводы. В небе над шпилями парили херувимы.

Городок Розуотер находился в самом центре округа, а в самом центре городка стоял Парфенон. Весь он, вместе с колоннами, был сложен из честного красного кирпича. Крыт он был зеленой жестью. По городу проходил канал, и когда жизнь тут кипела, пролегали пути Нью-Йоркской

железной дороги и узкоколейка Мононовской никелевой компании. Когда Элиот и Сильвия решили переехать на жительство в Розуотер, остался только канал и рельсы Мононовской дороги, но компания эта давно обанкротилась, а рельсы давно заржавели.

К западу от Парфенона стоял старый розуотеровский пилотавод – тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Сверху крыша была продавлена, стекла в окнах выбиты. Ласточки и летучие мыши жили тут коммуной, так сказать, Новой Амброзией. У всех часов, со всех четырех сторон башни, стрелок не было. Медный заводской гудок был забит птичьими гнездами.

К востоку от Парфенона стояло здание окружного суда, тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Башня с часами была копией заводской башни, только тут, на трех часах из четырех, стрелки еще сохранились, но часы все равно не шли. Как гранулема под гнилым зубом, в подвальчике старого здания примостилось некое частное заведение. Над ним светились алые неоновые буквы: «Салон красоты Беллы». Хозяйка салона, Белла, весила триста четырнадцать фунтов.

К востоку от окружного суда простирался Мемориальный парк памяти ветеранов войны имени Сэмюэла Розуотера. Там стоял флагшток и рядом – Мемориальная доска. Под Мемориальную доску взяли лист фанеры размером четыре на восемь футов, покрашенный в черный цвет. Лист повесили на металлическую трубку и приделали защитный козырек всего дюйма в два шириной. На Доске были написаны имена всех уроженцев Розуотеровского округа, отдавших жизнь за родную страну.

В городе было еще два каменных здания – особняк Розуотеров с гаражом, который стоял в глубине парка, на искусственном насыпном холме, окруженный изгородью из острых металлических прутьев, а к югу от особняка стоял дом, где помещалась средняя школа имени Ноя Розуотера, где учились «Пильщики» из футбольной команды. С северной стороны к парку примыкал старый розуотеровский оперный театр – нелепейшее, похожее на свадебный торт деревянное сооружение, где в любую минуту мог вспыхнуть пожар. Наверно, потому в нем теперь и было устроено пожарное депо. Кроме того, в городе было множество лачуг и общественных уборных, в нем процветали алкоголизм, невежество, тупоумие, разврат и просто глупость, потому что все здоровые, умные и работающие жители розуотеровского округа старались устроиться подальше от этого «центра».

Новое помещение розуотеровского пилотавода, желтое кирпичное

здание без окон, стояло между городком и Новой Амброзией. К нему были проложены сверкающие рельсы новой ветки Нью-Йоркской железной дороги и шуршащее шинами шоссе, проходившее в одиннадцать милях от города. Вблизи находился розуотеровский мотель и розуотеровский кегельбан. И тут же стояли огромные элеваторы и загоны для скота, куда свозили зерно и свиней с розуотеровских ферм. Весь немногочисленный обслуживающий персонал – высокооплачиваемые агрономы, инженеры, пивовары – словом, все, кто ворочал делами, – жили в обособленных, удобных домиках, среди поля, неподалеку от Новой Амброзии, причем этот поселок, неизвестно почему, назывался Эвондейл<sup>[7]</sup>. При каждом доме был внутренний дворик, с газовыми фонарями, обнесенный и выстланный шпалами с заброшенной старой Нью-Йоркской железной дороги.

У чистой публики, жившей в Эвондейле, Эли-от считался как бы конституционным монархом. Все эти люди были служащими розуотеровской компании, хозяйство, которым они управляли, принадлежало Фонду Розуотера. Отдавать им приказания Элиот не мог, но все равно он был их королем, и эвондейлцы это отлично понимали.

И когда король Элиот с королевой Сильвией прибыли в свою резиденцию, на них, как библейские дары, посыпались всякие знаки внимания из Эвондейла – приглашения, визиты, лестные послания и разные посетители. Но все понапрасну. Элиот попросил Сильвию принимать этих нуворишей с рассеянной и холодной, хотя и вежливой улыбкой. И все эвондейлские дамы выходили из особняка с таким напряженно-обиженным видом, будто им, как сострил Элиот, засунули в задницу соленый огурец.

Интересно, что эвондейлские технократы, которые так безудержно рвались в высшее общество, считали, что холодность, с которой их встречали у Розуотеров, можно было объяснить тем, что Розуотеры и на самом деле выше их. Эта теория им очень нравилась, и они постоянно обсуждали поведение Розуотеров. Им самим до смерти хотелось стать настоящими великосветскими снобами, и они считали, что Сильвия с Элиотом подают им пример, как надо себя вести.

Но вдруг король с королевой вынули фамильное серебро, золото и хрусталь из сыроватых сейфов Розуотеровского Областного Народного банка и стали задавать роскошные пиры для всяких проходимцев, психопатов, извращенцев, для всех голодных и безработных. Часами они терпеливо выслушивали исповеди людей, живущих в вечном страхе и ожидании, про которых любой здравомыслящий человек сказал бы, что им

лучше не жить на свете. Элиот и Сильвия относились к ним ласково, давали немного денег. Только с членами добровольной пожарной бригады они могли встречаться, как равные с равными. Элиот быстро заслужил звание лейтенанта, а Сильвию избрали президентом Женского Вспомогательного отряда. И хотя Сильвия никогда в жизни не играла в кегли, ее выбрали капитаном кегельной команды этого отряда.

Все подлипалы и подхалимы из Эвондейла стали посматривать на королевскую чету сначала недоверчиво и недоуменно, а потом вдруг словно с цепи сорвались. Хамство, бахвальство, пьянство, разврат, разводы росли час от часу. Со скрежетом зубным, словно вода пилой по жести, эвондейлцы говорили о короле с королевой, как будто уже удалось свергнуть этих тиранов. Куда девались жившие в этом тихом поселке молодые служаки и карьеристы. Теперь они сами стали правящим классом.

Пять лет спустя Сильвия заболела: в нервном припадке она подожгла пожарное депо, и тут республиканцы из Эвондейла проявили по отношению к роялистам Розуотерам садистическую жестокость. Весь Эвондейл над ними смеялся...

Сильвию поместили в частную нервную клинику. Ее отвез туда сам Элиот вместе с Чарли Уормерграном, начальником пожарной бригады. Отвезли ее в машине начальника, красном пикапе, с сиреной на крыше. Лечить ее взялся молодой невропатолог, доктор Эд Браун, который впоследствии очень прославился, описав историю ее болезни. В своей статье он называл Элиота и Сильвию «мистер и миссис Икс», а город Розуотер – городом Эн в США. Он придумал новый термин для болезни Сильвии: «самаритрофия». Слово, обозначающее, как он объяснял, «истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту».

\* \* \*

Норман Мушари читал доклад доктора Брауна, лежавший в папке секретных документов в конторе Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги. Своими карими, влажными, маслянистыми глазами он видел эти строки, как, впрочем, и весь мир, словно сквозь бутылку с оливковым маслом.

«Самаритрофия, – читал Мушари, – есть подавление всем сознанием

пациента излишне громкого голоса совести. «Слушайте только меня!» – вопит совесть всему активно работающему сознанию. На какое-то время весь разум пытается подчиниться голосу совести, но потом начинает осознавать, что голос совести не умолкает и продолжает вопить. Кроме того, человек начинает понимать, что мир, в котором он живет и где он старался жить по совести, ни на один микрон не стал лучше от всех его благородных и бескорыстных поступков, совершенных по велению совести.

И тут разум начинает бунтовать. Он сбрасывает тиранку-совесть в подвал подсознания, накрепко завинчивает выход из этой темницы. Голос совести больше не слышен. И в наступившей сладкой тишине разум начинает искать нового руководителя, он уже всегда наготове и только выжидает, чтобы умолкла совесть. И сознанием овладевает он – Просвещенный Эгоизм.

Эгоизм вручает человеку пиратский флаг, классический «Веселый Роджер», где на черном фоне – белый череп, скрещенные кости и надпись: «Катись к чертям, Джек, я свое взял!»»

«Я считал неразумным, – захлебываясь, читал Норман Мушари, – снова дать полную волю голосистой совести миссис Икс. А выписать пациентку, когда она стала бессердечней Ильзы Кох, тоже казалось неправильным. И я поставил целью психологического воздействия – не давать совести пациентки снова взять волю над ее сознанием, держать эту совесть, так сказать, в темнице, но слегка приоткрыть люк подземелья, чтобы голос совести все же смутно доходил до миссис Икс. И я достиг этого результата, правда, не сразу, пробуя и химиотерапию, и электрошок. Но гордиться мне было нечем: женщину глубокую, вдумчивую я хотя и успокоил, но превратил в существо пустое и поверхностное. Я как бы перекрыл те глубинные истоки, которые затем выходили на океанский простор ее сознания, и она успокоилась, стала похожа на мелкий плавательный бассейн, диаметром фута в три, глубиной в четыре дюйма, с хлорированной водичкой, подкрашенной синькой».

Вот это врач!

Вот это лечение!

Доктор Браун старался найти те образцы, по которым можно было бы перестроить сознание миссис Браун, чтобы она, хотя бы отчасти, могла бы испытывать без неприятных последствий и угрызания совести, и жалость к



ближним. Такими образцами должны были служить люди, считавшиеся совершенно нормальными. Но когда он стал искать среди этих людей, кого взять за образцы, он с глубоким огорчением увидел, что у вполне нормальных, вполне приспособленных к жизни людей из высших слоев нашего процветающего индустриализированного общества совести либо нет и в помине, либо голос ее чуть слышен.

«Выходит, что логически мыслящий читатель может обвинить меня в пустой болтовне – зачем я выдумал какую-то болезнь, самаритрофию, когда подавление совести – такая же неотъемлемая черта многих здоровых, нормальных американцев, как, например, их нос. Скажу в свою защиту следующее: самаритрофией заболевают в довольно опасной форме только те, очень редкие в наше время индивиды, которые, даже достигнув биологической зрелости, все-таки еще по-детски пытаются любить ближнего и помогать ему.

Мне пришлось лечить только один такой случай. Я никогда не слышал, чтобы другие врачи сталкивались с этим заболеванием. Думаю, что опасность самаритрофического припадка грозит только еще одному известному мне человеку. Человек этот, понятно, сам мистер Икс. И он так глубоко погряз в благотворительных делах, что, если у него вдруг проснется самаритрофическое отвращение ко всему этому, он либо покончит с собой, либо перестреляет добрую сотню своих подопечных, а тогда и его самого пристрелят, как бешеную собаку, прежде чем мы возьмемся его лечить».

Лечил, лечил и долечил...

«Мы лечили и вылечили миссис Икс в нашем оздоровительном санатории, и, выписываясь, она выразила желание «начать жить заново, наслаждаться жизнью всюю», пока не увяла ее красота. Она все еще была поразительно хороша собой и казалась воплощением доброты, хотя этой доброты в ней уже не было. Ни о городке Эн, ни о мистере Икс она и слышать не хотела, сказала мне, что возвращается к радостям парижской жизни, к своим милым, веселым друзьям. Она заявила, что хочет покупать новые наряды и танцевать, танцевать до упаду, пока не сомлеет в объятиях высокого смуглого красавца, наверное, иностранца, хорошо бы – тайного агента двух держав.

В разговоре со мной, писал Браун, она часто называла своего мужа «тот дядька с Юга, пьяница, неряха», но, конечно, в лицо ему она этого никогда не говорила. Она совсем не шизофреничка, но, когда муж навещал

ее – а он приезжал три раза в неделю, – ее поведение было весьма странным. Словно она играла роль. То она гладила его по щеке, то хотела его поцеловать и вдруг со смехом отшатывалась. Она даже говорила ему, что съездит в Париж ненадолго, только повидать своих любимых родителей, и что она сразу вернется к нему. И она просила передать привет всем их подопечным, всем этим несчастным, милым людям в городке.

Но мистера Икса трудно было обмануть. Он проводил ее в Париж с аэродрома в Индианаполисе, и, когда самолет стал только точкой в небе, он сказал мне, что он ее больше никогда не увидит.

– Бесспорно, вид у нее был счастливый, – сказал он мне, – она, бесспорно, будет чувствовать себя прекрасно, когда опять вернется в свою среду, к той жизни, которой она достойна.

Он дважды сказал «бесспорно». Меня это немного задело. И я интуитивно почувствовал, что он задевает меня намеренно. Так и было.

– И главная заслуга, – сказал он, – бесспорно, ваша.

Родители миссис Икс, разумеется, настроенные по отношению к мистеру Икс весьма неприязненно, сообщили мне, что он ей часто пишет и звонит по телефону. Писем она не читает, к телефону не подходит. И они с радостью подтверждают, что она вполне довольна жизнью, на что, кстати, надеялся и сам мистер Икс.

Прогноз: со временем – повторение нервного срыва.

Теперь о мистере Икс. Он, бесспорно, тоже болен; мне, бесспорно, не приходилось видеть человека, похожего на него. Из городка он выезжает редко, и то очень ненадолго, и ездит он только до Индианаполиса.

Предполагаю, что он никак не может уехать из городка. А почему?

Позволю себе отступить от чисто научной терминологии, потому что научный подход совершенно противопоказан врачу, столкнувшемуся с таким пациентом: этот городок предназначен ему Судьбой».

Добрый доктор правильно поставил диагноз: Сильвия стала звездой в интернациональной плеяде «золотой» молодежи, пользовалась огромным успехом, научилась блестяще танцевать все модные танцы, ее прозвали Герцогиней Розуотерской. Многие предлагали ей руку и сердце, но она так наслаждалась вольной жизнью, что думать о браке или разводе ей совсем не хотелось. Но в июле 1964 года с ней снова случился тяжелый нервный срыв.

Ее лечили в Швейцарии. Она вышла из клиники притихшая, печальная

и снова почти до невыносимости углубленная в себя. Снова в ней заговорила совесть и жалость к Элиоту и обездоленным жителям Розуотера. Она собиралась вернуться к ним, не оттого, что ей этого очень хотелось, но из чувства долга. Однако лечащий врач предостерег ее: возвращение в Розуотер может оказаться для нее роковым. Он посоветовал ей не уезжать из Европы, развестись с Элиотом и начать вести спокойную, интересную, осмысленную жизнь.

И контора Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги взяла на себя обязанность культурно и спокойно провести бракоразводный процесс.

И вот пришла пора, когда Сильвии надо было вылететь в Америку, чтобы оформить развод. Июньским вечером сенатор Листер Эймс Розуотер, отец Элиота, назначил встречу в своем вашингтонском особняке. Элиот не приехал. Он не захотел покинуть Розуотер. На встрече присутствовали Сильвия, сам сенатор, старейший партнер адвокатской конторы Тэрмонд Мак-Алистер и его бдительный молодой помощник Норман Мушари.

В этот вечер разговор шел откровенный, даже задушевный, всепрощающий, иногда очень веселый, но, в сущности, глубоко трагический. Пили бренди.

– В глубине души, – говорил сенатор, встряхивая лед в бокале бренди, – Элиот любит тамошнее отребье не больше, чем я. И не будь он все время без просыпу пьян, он не любил бы его никогда. Я постоянно утверждал и буду это утверждать. Все дело в пьянстве. Излечить бы его от пьянства, и вся его жалость к этим поганым червякам, которые копошатся на дне среди человеческих отбросов, испарилась бы бесследно. – Он стукнул кулаком по ладони, покачал головой. – Ребятенка бы вам родить!

Ему нравилось подражать говору старого фермера-свиновода из Розуотеровского округа, хотя сам он воспитывался в колледже Сент-Пол и окончил Гарвардский университет. Сдернув очки в стальной оправе, он уставился на невестку, страдальчески сощуривая голубые глаза.

– Если бы да кабы!

Снова надев очки, он безнадежно развел руками. Руки у него были в старческих пятнах, как щиток черепахи.

– Видно, пришел конец роду Розуотеров.

– Но ведь есть и *другие* Розуотеры, – деликатно напомнил Мак-Алистер.

Мушари передернулся – ведь он и собирался стать представителем именно этих других Розуотеров.

– Я говорю о *настоящих* Розуотерах! – сердито крикнул сенатор. – К *черту* этих писконтьютцев!

В прибрежном поселке Писконтьют, на Род-Айленде, жили единственные представители другой ветви рода Розуотеров.

– Запируют эти стервятники, запируют! – бормотал сенатор, нарочно терзая себя: он уже видел в воображении, как Розуотеры с Род-Айленда рвут клювами мясо с костей индианских Розуотеров. Он вдруг хрипло закашлялся. Ему стало неловко. К тому же он был заядлым курильщиком, как и его сын.

Он подошел к камину, уставился на цветную фотографию Элиота. Фото было сделано в конце Второй мировой войны. С него смотрел молодой капитан пехоты, с множеством орденов.

– Такой чистый, такой статный, такой целеустремленный! Да, такой чистый, чистый, чистый! – сказал сенатор и скрипнул вставными зубами. – Какой благородный ум погибает! – процитировал он.

Он машинально поскреб висок.

– А каким стал он сейчас – рыхлый, бледный – непропеченное тесто, да и только! Спит в белье, а питается чем? Ест хрустящий картофель, пьет виски «Южная услада» и запивает пивом «Золотая Амброзия». – Сенатор постучал пальцем по фотографии: – Он! Он! Капитан Элиот Розуотер, награжден Бронзовой Звездой, Серебряной Звездой, Солдатской медалью, орденом Алого Сердца первой степени! Чемпион-яхтсмен! Чемпион по лыжному спорту! И это он! Он! Мой Бог, сколько раз жизнь твердила ему: «Да, да, да!» Миллионы долларов, сотни выдающихся друзей, самая красивая, умная, талантливая, любящая жена на свете! Блестящее образование, светлый дух в здоровом, крепком теле. И что же он отвечает жизни, когда она ему говорит: «Да! Да! Да!»? «Нет! Нет! Нет!» – говорит он. А почему? Может быть, кто-нибудь объяснит мне почему?

Но все промолчали.

– Была у меня кузина – кстати, из Рокфеллеров, – продолжал сенатор, – и она мне рассказывала, что с пятнадцати до восемнадцати лет она всегда твердила одно и то же: «Нет, спасибо! Нет, спасибо!» Все это вполне мило для молодой девицы из их семьи. Но в *юноше* из этой же семьи Рокфеллеров это выглядело бы дьявольски неприятной чертой, а уж для юноши из семейства Розуотеров это было бы совершенно недопустимо.

Он пожал плечами:

– Что ж, ничего не поделаешь, есть теперь у нас в семье Розуотер, который на все хорошее, что предлагает ему жизнь, отвечает: «Нет, нет, нет!» Он даже не желает жить в своем розуотеровском особняке.

Элиот действительно переехал из особняка в конторское помещение, когда узнал, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.

– Ему стоило бровью повести – и он стал бы губернатором Индианы! Он мог бы стать Президентом Соединенных Штатов, ему для этого и стараться бы почти не пришлось. А кто он теперь? Кто он теперь?

Сенатор снова закашлялся и сам ответил на свой вопрос:

– Он теперь нотариус, друзья мои и ближние, обыкновенный нотариус, а скоро и эти его полномочия истекут.

В общем, это было верно. Единственный официальный документ, висевший на сырой фанерной стенке в элиотовской конторе, где все время толпился народ, было удостоверение, дающее ему право оформлять как нотариусу всякие бумаги. Кое-кому из множества посетителей, приходивших к нему за советом и помощью, надо было заверять свои подписи.

Контора Элиота находилась на Главной улице, через один квартал к северо-востоку от кирпичного Парфенона и через дорогу от пожарного депо, отстроенного Фондом Розуотера. Помещалась она в наспех сколоченной мансарде над закусочной и пивной. В мансарде было всего два окошка в глубоких нишах. Вывеска у одного окошка гласила: «Закуски», у другого – «Пиво». Под обе вывески было проведено электричество с мигалками. И когда в Вашингтоне сенатор бушевал, крича о нем, о нем, о нем, Элиот спал, как малое дитя, под мигание электрической рекламы.

На губах Элиота мелькнула улыбка, он что-то ласковое пробормотал, повернулся на бок и захрапел. Бывший спортсмен, человек огромного роста – шесть футов с лишним, – он теперь обрюзг, весил уже двести тридцать фунтов и сильно полысел – только на макушке еще остался вихор. Спал он в длинных, не по росту кальсонах армейского образца, свисавших складками, как шкура у слона. На каждом окне мансарды и у входной двери блестели золотые буквы надписи:

Фонд Розуотера

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Элиот спал сладким сном, хотя забот у него было по горло. Не спал лишь бачок унитаза в затхлой и тесной уборной мансарды, казалось, что его душат кошмары. Он вздыхал, он всхлипывал, он захлебывался, как утопающий. На бачке грудой лежали банки с консервами, номера географического журнала, налоговые бланки. В раковине мочла в холодной воде грязная миска и ложка. Аптечка над раковиной была открыта настежь. В ней навалом лежали витамины, таблетки от головной боли, геморроидальные свечи, слабительные и успокоительные. Элиот и сам принимал эти лекарства, но главным образом раздавал посетителям, которые вечно жаловались на всякие недомогания.

Им было мало доброго отношения и сочувствия, и даже денежной помощи – они непременно выпрашивали всякие лекарства.

Кипы бланков лежали везде: налоговые бланки, бланки для удостоверений Союза ветеранов, пенсионные бланки, бланки страхования жизни, бланки социального обеспечения и бланки поручительские. Кипы бланков разваливались, россыпи превращались в подобие дюн, а между дюнами валялись бумажные стаканчики, пустые жестянки из-под пива «Золотая Амброзия» и пустые бутылки из-под виски «Южная улада».

На стенах были приклеены всякие картинки – Элиот их вырезал из иллюстрированных журналов «Лайф» и «Лук». Легкий и прохладный ветерок шуршал сейчас листками, видно, надвигалась гроза. Элиот заметил, что от некоторых картинок людям становится веселее. Особенно всех трогают снимки всяких маленьких зверушек. Любили его гости и фотографии всяких катастроф. А на космонавтов им смотреть было скучно. Нравились им и портреты Элизабет Тэйлор, потому что они ее ужасно презирали, считали куда ниже себя. Самым любимым их героем был Авраам Линкольн. Как ни старался Элиот поднять популярность Томаса Джефферсона и Сократа, но почти все от раза до раза успевали забыть, кто это такие.

– А кто же из них кто? – спрашивали они.

В мансарде когда-то работал зубной врач. Ничто не напоминало о прежнем хозяине, кроме лестницы, ведущей наверх прямо с улицы. Там над каждой ступенькой дантист прибил жестяную табличку с предложениями разных зубоврачебных услуг. Таблички так и остались над каждой ступенькой, но Элиот закрасил надписи. Сверху он написал новые слова –

стихи Уильяма Блейка вразбивку, над каждой из двенадцати ступенек. Вот как выглядели эти стихи:

Ангел стоял  
Над моей  
Колыбелью.  
Он мне сказал:  
Ты – Радость,  
Веселье!  
Всех люби  
На земном  
Пути,  
Ни от кого  
Подмоги  
Не жди!

А внизу, под лестницей, сам сенатор как-то написал другое стихотворение Блейка:

Любовь – утеха для себя:  
Другого – полонить, любя,  
У милого – покой отнять  
И ад на небесах создать.

В данный момент у себя в Вашингтоне сенатор сказал, что лучше бы и ему, и Элиоту умереть – и все.

– А мне... мне пришла в голову одна идея, правда, довольно примитивная, – сказал Мак-Алистер.

– Последняя ваша примитивная идея лишила меня возможности распоряжаться капиталом в восемьдесят семь миллионов долларов.

По усталой улыбке Мак-Алистера видно было, что он и не собирается извиняться за то, что именно по его идее был создан Фонд Розуотера. Именно благодаря этому плану, как и было задумано, капитал переходил от отца к сыну, а налоговое управление не получало ни гроша.

– Я хотел предложить, – сказал Мак-Алистер, – чтобы Элиот и Сильвия сделали последнюю попытку примириться.

Сильвия покачала головой.

– Нет, – прошептала она. – Простите, не могу. – Она полулежала в большом кресле, свернувшись калачиком и сбросив туфли. – Нет...

Безукоризненный овал ее бледного до синевы лица был обрамлен черными как смоль прядями волос. Темные круги лежали под глазами.

– Нет!

С медицинской точки зрения это было вполне разумное решение. После второго нервного срыва Сильвия хотя и выздоровела, но стала уже совсем не той Сильвией, какой была в самом начале розуотерской жизни. Она стала другим человеком, и это было третьим ее перевоплощением за годы ее брака с Элиотом. Теперь ее мучило и сознание собственной бесполезности, и стыд за то, что ей были физически противны и те жалкие люди, и антисанитарный быт Элиота, и все же преследовала самоубийственная мысль – преодолеть это отвращение, снова вернуться в Розуотер и погибнуть там ради благого дела.

И сейчас она отказывалась, только следуя врачебным предписаниям, только застенчиво сопротивляясь порыву – безоговорочно принести себя в жертву:

– Нет...

Сенатор сбросил портрет Элиота с каминной доски.

– Кто ж посмеет осудить ее? Неужто можно еще хоть раз переспать с этим пьяным бродягой, хотя он и приходится мне сыном? – Он тут же извинился: – Простите старика, но, когда всякая надежда пропала, невольно сорвется слово, хоть и грубое, зато точное. Простите, пожалуйста!

Сильвия низко наклонила свою прелестную головку и вдруг выпрямилась:

– Но для меня он вовсе не такой – не пьяный бродяга!

– А для меня – такой, честью клянусь! Каждый раз, как приходится его видеть, у меня одна мысль: «Вот рассадник всякой заразы, всяких эпидемий». Не надо щадить меня, Сильвия. Мой сын недостойн быть мужем хорошей женщины. Ему по заслугам досталась эта слюняйская жизнь среди шлюх, симулянтов, сутенеров и воров.

– Нет, папа Розуотер, они совсем не такие скверные.

– А по-моему, Элиота именно и тянет к ним потому, что в них ничего хорошего нет.

Недаром Сильвия пережила два нервных срыва и теперь ничего светлого в будущем не ждала. Ей только и оставалось спокойно, как советовал ее доктор, сказать:

– Мне спорить не хочется.

– Неужели ты еще *можешь* защищать Элиота?



– Да. И если я сегодня еще ничего не могу объяснить, то одно для меня совершенно ясно. И я вам говорю: Элиот совершенно прав во всех своих поступках. То, что он делает, прекрасно. А у меня просто не хватает сил, доброты не хватает, чтобы помогать ему, быть с ним. И это моя вина.

По лицу сенатора было видно, как его огорчили и озадачили слова Сильвии. Потом он растерянно попросил:

– Но ты сама скажи, что в них хорошего, в этих людях, с которыми Элиот так возится?

– Не знаю.

– Так я и думал.

– Это в них скрыто, – сказала Сильвия умоляющим голосом, чувствуя, что ее против воли, силой втягивают в спор. Но сенатор не понимал, как он ее мучит, и беспощадно продолжал:

– Но ты тут среди своих, неужели ты не можешь открыть нам, что же там в них скрыто?

– То, что они – люди, – сказала Сильвия. Она обвела взглядом все лица, ища в них хоть проблеск сочувствия. Ничего она не увидела. Последним, на кого она посмотрела, был Норман Мушари. Мушари ответил ей отвратительной, похабной и жадной ухмылкой. Сильвия внезапно извинилась, вышла из комнаты, заперлась в ванной и заплакала.

А в Розуотере уже гремела гроза, и пегий пес вылез из пожарного депо, пуская с перепугу слюни, будто заболел водобоязнью. Дрожа всем телом, он остановился посреди мостовой. Улицу скупо освещали фонари, расставленные далеко друг от друга. В полумраке мигала только синяя лампочка над входом в полицейский участок, помещавшийся в первом этаже здания суда, красная лампочка у пожарного депо и белая – в телефонной будке, у самой закусочной Кэнди Китчен, около автобусной станции.

*Загрохотал гром.* Молния превратила все в голубую алмазную россыпь.

Пес с воем бросился к конторе Фонда Розуотера и стал царапать в дверь. Но Элиот не проснулся. Над его головой, слабо просвечивая, сохла рубашка, колыхаясь под сквозняком, как белое привидение. У Элиота была только одна рубашка. И костюм тоже был только один – замусоленный, синий в белую полоску двубортный костюм, сейчас висевший на ручке двери в уборную. Сшит он был на совесть и все еще держался, хотя лет ему было очень много. Элиот выменял его еще тогда, в 1952 году, у какого-то типа в Новом Египте, штат Нью-Джерси.

И черные кожаные башмаки были единственной обувью Элиота, кожа

на них покрылась сетью трещинок, после того как Элиот попробовал почистить их «Самоблеском» – натиркой для паркета, отнюдь не предназначенной для чистки башмаков. Один башмак стоял на столе, другой – в уборной, на краю умывальника. Из каждого башмака торчал рыжий нейлоновый носок с подвязкой. Подвязка из башмака, стоявшего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее, по чудодейственному закону капиллярности, вымок и весь носок.

Кроме картинок из журналов, в комнате яркими пятнами выделялись только огромная коробка стирального чудо-порошка «Тайд» и форма пожарника – желтая куртка и красный шлем, – висевшая на крюке у входной двери. Элиот был лейтенантом пожарной бригады. Он без труда мог бы стать и капитаном, и даже начальником дружины, – работал он на пожарах умело и старательно, а кроме того, подарил местным пожарникам шесть новых машин. Но, по собственному настоянию, он оставался в чине лейтенанта.

Так как Элиот почти никогда не уходил из своей конторы и только ездил тушить пожары, все сигналы тревоги передавались через него. Для этого он и установил около своей койки два телефона: по черному телефону он отвечал по делам Фонда, по красному – на вызовы в случае пожара. Когда звонили о пожаре, Элиот тут же нажимал красную кнопку на стене под нотариальным удостоверением. Кнопка приводила в действие оглушительную, как трубный глас в день Страшного суда, сирену под круглой башней на здании депо. И сирена, и башня были, разумеется, оплачены Элиотом.

Снова грянул оглушительный удар грома.

– Брось, брось, брось, – забормотал Элиот, не просыпаясь. Даже когда позвонит черный телефон, Элиот проснется не сразу и ответит только на третий звонок. Он возьмет трубку и скажет то, что говорил всегда, в любой час дня и ночи:

– Фонд Розуотера. Что мы можем сделать для вас?

Сенатор воображал, что Элиот связался с преступным миром. Он ошибался. Клиентам Элиота ни смелости, ни ловкости на преступления не хватало. Но Элиот ошибался ничуть не меньше, защищая своих клиентов, особенно перед отцом, банкирами и юристами. Он доказывал, что те, кому он старается помочь, – прямые потомки людей, расчищавших заросли, осушавших болота, строивших мосты, и что эти люди во время войны были становым хребтом американской пехоты – и так далее. Но те, кто постоянно выклянчивал у Элиота помощь, были по большей части куда слабее, да и тупее, чем их предки. А когда сыновьям этих семейств

подходило время идти на военную службу, их обычно признавали не годными и по здоровью, и по умственному развитию, и по моральным качествам.

Были среди розуотерских бедняков и люди покрепче, и те из гордости держались подальше от Элиота, с его любовью ко всем, без разбора, огулом. У них хватало упорства – и они старались вырваться из своего городка, искали работу – кто в Индианаполисе, кто в Детройте, а кто и в Чикаго. Найти постоянное место удавалось немногим, но все они хотя бы старались пробиться.

В эту минуту по черному телефону Элиота звонила шестидесятивосьмилетняя старая дева, до того безмозглая, что, по мнению большинства, ей и жить на свете не стоило. Звали ее Диана Луун-Ламперс. Никто никогда не любил ее. Да и любить ее было не за что – до того она была некрасивая, глупая и унылая. Когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, что случалось не так уж часто, она полностью называла свое имя и фамилию и непременно упоминала те светочи, от слияния которых началось ее бессмысленное существование:

– Мамаши моей фамилия была Луун, а папаши – Ламперс.

Помесь Луны и Лампы служила горничной в родовой усадьбе сенатора Розуотера – особняке из фасонного кирпича, где хозяин проводил от силы дней десять в году. В остальные 355 дней Диана была полной хозяйкой двадцати шести комнат. И она одна их убирала, убирала без конца, хотя была лишена даже единственного удовольствия – винить кого-нибудь за беспорядок.

После уборки Диана уходила к себе – она жила над гаражом Розуотеров, рассчитанным на шесть легковых машин. Теперь там стоял только старый фордик марки «фаэтон» выпуска 1936 года, поднятый на подставки, и трехколесный велосипедик с пожарной сиреной, на котором когда-то катался маленький Элиот.

У себя дома Диана включала потрескавшийся приемник из зеленого пластика или смотрела картинки в Библии. Читать она не умела. Библия у нее была старая, совсем истрепанная. На тумбочке у кровати стоял белый телефон марки «Принцесса», взятый напрокат в Индианской телефонной компании. За прокат Диана платила сверх обычной платы еще семьдесят пять центов.

Вдруг снова грянул гром.

Диана в испуге закричала: «Помогите!» И неудивительно: в 1916 году молния убила обоих ее родителей, на пикнике, устроенном сенатором для

служащих лесничества. Диана была твердо уверена, что молния убьет и ее. И оттого, что у нее вечно болела поясница, она не сомневалась, что молния попадет ей прямо в больные почки.

Она схватила трубку телефона, своей белой «Принцессы», и набрала номер – единственный номер, который она умела набирать. Стеная и всхлипывая, она ждала, пока ей ответят.

Ответил ей Элиот. Его мягкий, отечески добрый, полный человечности голос прозвучал, как низкие звуки виолончели:

– Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

– Опять электричество за мной гоняется, мистер Розуотер. Вот и звоню вам. Уж очень мне боязно.

– Звоните, милая моя, звоните когда угодно, для того я тут и нахожусь.

– *Доконает* оно меня, не выжить мне.

– Черт его дери, это электричество! – Элиот искренне негодовал. – Вот проклятое, зло меня берет, право! Да как оно смеет мучить нас все время! Свинство, и все!

– Пусть бы уж сразу меня убило, а то все гремит, разговаривает, покою нет.

– Ну нет, не надо! Весь город по вас плакать будет.

– А кому до меня дело?

– *Мне*, дорогая моя, *мне*.

– Да кто обо мне пожалеет?

– Я пожалею.

– Да вы-то всех жалеете. А еще кто?

– Многие, многие пожалеют, милая моя.

– Да кого тут жалеть, дуру старую! Мне шестьдесят девятый год пошел.

– Какая же это старость – шестьдесят восемь лет?

– Нет, трудно человеку прожить целых шестьдесят восемь лет и ничего хорошего не видать. А у меня ничего хорошего в жизни не было. Да и откуда ему быть? Видно, я за дверьми стояла, когда Господь человекам мозги раздавал.

– Да неправда это, *неправда*!

– Видно, я и тогда за дверьми стояла, когда Господь людям тела раздавал – крепкие да красивые. Я и девчонкой ни бегать не могла, ни прыгать. И вечно хворала, дня не помню без хвори. С самых малых лет то живот пучило, то ноги пухли, с тех самых пор и почки стали болеть. И не было мне входа к Господу, когда он деньги раздавал и удачу. А потом

набралась я храбрости, вышла из-за дверей и говорю, тихонько так шепчу: «Господи Боже, всеблагий, всемогущий, вот она я, бедная, несчастная!» А у него-то уже ничего хорошего и не осталось. И пришлось ему выдать мне нос картошкой, и волосы, что твоя проволока, и голос, как у лягушки.

– Да не похож ваш голос на лягушачий, Диана. Приятный у вас голос.

– Нет, голос у меня как у лягушки, – настаивала Диана. – Там, на небе, и лягушка была, мистер Розуотер. И хотел ее Господь на нашу бедную землю послать. А лягушка эта была умная, старая такая лягва, хитрая. И говорит она Господу, лягва эта: «Нет, Господи, ежели Тебе не трудно, оставь меня тут, не посылай родиться на земле, что-то там лягушкам неважно живет. Лучше я тут останусь». И отпустил ее Господь прыгать по небу, а голос от нее взял и *мне* отдал.

Снова грянул гром. Голос у Дианы стал выше на целую октаву:

– Ох, зачем я не сказала Господу, как та лягушка: «Лучше бы и мне на свет не родиться, тут и для Дианы ничего хорошего нет».

– Ну бросьте, Диана, бросьте! – сказал Элиот и отпил прямо из бутылки глоток «Услады».

– А почки меня день-деньской мучают, мистер Розуотер. Ну прямо будто шаровая молния огнем по ним прыгает, крутится-вертится, а из нее бритвы торчат, острые, ядовитые.

– Плохая штука, ничего не скажешь.

– Еще бы!

– Очень вас *прошу*, дорогая моя, пойдите вы к доктору, пусть посоветует, что вам делать с этими подлыми почками.

– Да была я у врача. Сегодня ходила к доктору Винтеру, вы же мне сами велели. А он со мной так обращался, будто я – корова, а он ветеринар, да еще под мухой. Он меня крутил, и вертел, и мял, а потом смеется: хорошо бы, говорит, чтоб у всех моих пациентов в Розуотере были такие замечательные почки! Говорит – все это у вас одно воображение. Нет, мистер Розуотер, теперь другого доктора, кроме вас, у меня нету.

– Какой же я доктор, милая моя!

– Все равно. Вы больше болезней вылечили, да еще самых застарелых, чем все доктора во всей Индиане.

– Да что вы, что вы...

– Дейв Леонард нарывами мучился, а вы его вылечили. У Неда Келвина с самого детства глаз как дергался – а теперь все прошло, с вашей же помощью. А Пэрли Флемминг только вас увидела – и костыль бросила.

Вот и у меня сейчас почки совсем болеть перестали, как услышала ваш голос, такой ласковый.

– Я рад.

– И гром не гремит, и молнии уже нету.

Гроза и вправду прошла, слышалась только неисправимо сентиментальная песенка дождя.

– Теперь-то вы уснете, дорогая моя?

– Да, спасибо вам. Ах, мистер Розуотер, вам бы при жизни памятник поставить, посреди города, большую такую статую, из чистого золота, всю в бриллиантах, самых драгоценных рубинах, каким и цены нет, а еще лучше бы – целиком из этого самого ураниума; как подумаешь, какого вы знатного роду, какое образование получили, сколько у вас денег и какой вы обходительный, вежливый, ваша матушка вот как хорошо вас воспитала, да вам бы жить в столице, разъезжать в кадиллаках, с самыми важными шишками якшаться, да чтоб вас с оркестром встречали, чтоб весь народ кричал «ура!». Вам бы занимать самое высокое место на свете, глядеть оттуда на нас, бедных, на серость нашу да на глупость и думать, что это там за козявки ползают.

– Ну бросьте, бросьте!

– Вам бы каждый позавидовал! И ведь все у вас было, а вы все бросили, пришли к нам, бедным, на помощь. Думаете, мы этого не понимаем? Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер! Спокойной ночи!

– Да, сама природа подает нам сигнал «опасно!», – хмуро сказал сенатор Розуотер Сильвии, Мак-Алистеру и Мушари. – А сколько я их проглядел, этих сигналов. Да, пожалуй, все проглядел!

– Вы не виноваты, – сказал Мак-Алистер.

– Если у человека есть один-единственный сын, – продолжал сенатор, – а его семья всегда славилась людьми волевыми, исключительными, по каким же признакам тогда определять – нормальный у него сын или нет?

– Но вы же *не виноваты*.

– Но ведь я всю жизнь требовал, чтобы за все свои неудачи человек винил только самого себя.

– Но для кого-то вы, вероятно, делали исключения.

– Очень редко.

– Вот и сделайте такое редкое исключение для самого себя. Вы именно и относитесь к этим исключениям.

– Я ведь часто думаю, что Элиот никогда не стал бы таким, если бы наша местная пожарная бригада не подняла вокруг него всю эту идиотскую шумиху, когда он был мальчишкой. Сделали его, видите ли, «талисманом» бригады, избаловали вконец. Чего только они ему ни разрешали – сажали его рядом с первым номером, разрешали звонить в колокол, научили делать выхлоп на машине, гоготали, как дураки, когда у него лопнул глушитель. И от всех от них несло спиртным.

Сенатор замотал головой, прищурился:

– Да, спиртное и пожарные машины – вот оно к нему и вернулось, золотое детство! Не знаю, не знаю, сам ничего не понимаю. Когда мы с ним приезжали в Розуотер, я ему внушал, что это – его родной дом. Но никогда я не думал, что он сдуру этому поверит. Нет, все-таки я себя виню, – сказал сенатор.

– Прекрасно, – сказал мистер Мак-Алистер. – Но если уж вы так решили, возьмите на себя ответственность и за все то, что случилось с Элиотом во время Второй мировой войны. Несомненно, вы виноваты в том, что те немецкие пожарники тогда застряли в дыму горящего дома.

Мак-Алистер говорил о том случае в конце войны, который, по-видимому, и вызвал тогда нервный срыв у Элиота. Речь шла о горевшей музыкальной мастерской в Баварии. Предполагали, что там, в густом дыму,

засел отряд вооруженных эсэсовцев.

Элиот вел один из взводов своей роты на штурм горящего дома. Обычно он был вооружен автоматом Томпсона, но тут взял винтовку с примкнутым штыком, потому что стрелять не хотел, боясь в густом дыму попасть в своих. Ни разу за все годы этой кровавой бойни он не ткнул штыком в живое тело.

Он швырнул в окно гранату. Раздался взрыв, и капитан Розуотер первым вскочил в окошко. Он очутился в густом облаке дыма, оседавшего у самых глаз. Он задрал голову, чтобы дым не лез в нос; он слышал голоса немцев, но разглядеть никого не мог.

Он шагнул вперед, споткнулся о чье-то тело, упал на другое. Эти немцы были убиты его гранатой. Элиот вскочил – перед ним стоял немец в каске и противогазе.

Элиот был хорошим солдатом: он сразу двинул врага коленом в пах, вонзил ему в горло штык и, выдернув его, разбил немцу челюсть прикладом.

И вдруг Элиот услышал откуда-то рев американского сержанта. Там, как видно, дым рассеялся и сержант орал во всю глотку:

– Стой! Осади назад! Не стрелять, мать вашу так! Тут нет солдат, тут одни пожарные!

Так и оказалось. Элиот убил трех безоружных людей, трех простых деревенских жителей, честно занятых благородным и, безусловно, нужным делом: они старались спасти постройку от соединения с кислородом.

А когда санитары сняли противогазы с тех троих, кого убил Элиот, оказалось, что это – два старика и мальчишка. Именно мальчишку Элиот убил штыком. С виду ему было лет четырнадцать.

Минут десять Элиот вел себя нормально. И вдруг... И вдруг он вышел на дорогу и спокойно лег прямо под мчащийся на него грузовик.

Грузовик еле успел затормозить – передние колеса чуть не задели капитана Розуотера. Солдаты в ужасе бросились поднимать своего капитана. Оказалось, что все его тело так свело судорогой, что оно все одеревенело – можно было бы поднять его за волосы и за пятки.

Двенадцать часов он не приходил в себя, не двигался, не пил, не ел. Пришлось отправить его в «город-светоч» Париж.

– А в Париже, каким он был в Париже? – допытывался сенатор у Сильвии. – Вам-то он показался вполне нормальным?

– Да, потому я с ним и захотела познакомиться.

– Не понимаю.



– Мой отец выступал со своим струнным квартетом в американском военном госпитале, в отделении для душевнобольных. И там он разговорился с Элиотом, и тот ему показался самым разумным и нормальным из всех американцев, каких он до этого встречал. Когда Элиот стал выздоравливать и выписался, отец позвал его к нам, на обед. Помню, как отец представил его нам: «Вот, познакомьтесь: это пока что единственный американец, который *прочувствовал*, что такое Вторая мировая война».

– А о чем же он говорил так разумно?

– Дело не в словах, не в том, что он говорил, а в том, какое он производил впечатление. Помню, как отец о нем рассказывал: «Этот молодой капитан, который к нам придет обедать, – он презирает искусство. Можете себе представить, *презирает*, – но так мне все объяснил, что я не мог его не полюбить. Как я понял, он считает, что искусство предало его, – и должен признаться, что человек, заколовший штыком четырнадцатилетнего мальчишку, так сказать, по долгу службы, имеет полное право так думать».

– И я его полюбила с первого взгляда.

– Ты не можешь найти другое слово?

– Вместо чего?

– Вместо слова «любовь».

– А разве есть слово прекраснее?

– Нет, конечно, слово-то было очень хорошее, пока Элиот не стал им злоупотреблять. Для меня оно испорчено вконец. Элиот сделал со словом «любовь» то, что некоторые делают со словом «демократия». Раз Элиот собирается «любить» всех на свете, кого попало, значит, нам, тем, кто любит совершенно определенных людей по совершенно определенным причинам, надо искать новое слово.

Сенатор взглянул на большой портрет своей покойной жены:

– Например, я любил ее гораздо больше, чем, скажем, неграмусорщика, вот и выходит, что я, по нынешним понятиям, повинен в одном из самых тяжких грехов – в *дис-крими-нации*.

Сильвия устало улыбнулась:

– Раз нет лучшего слова, можно мне говорить по-прежнему, хотя бы сейчас, сегодня?

– В твоих устах это слово еще имеет смысл.

– Я полюбила Элиота с первого взгляда, и стоит мне о нем подумать – знаю, что люблю.

– Но ты, наверное, очень скоро сообразила, что у тебя на руках человек со странностями.

– Да, он стал пить.

– Вот тут-то и корень зла, именно тут.

– А потом разыгралась эта ужасная история с Артуром Гарвеем Ульмом.

Ульмом звали того поэта, которому Элиот выдал десять тысяч долларов, когда Фонд еще находился в Нью-Йорке.

– Этот несчастный Артур сказал Элиоту, что хочет быть свободным и писать правду, не считаясь ни с какими экономическими трудностями, и Элиот тут же выдал ему огромный чек. Это было на одном приеме, на коктейле, – продолжала Сильвия. – Помню, там был Роберт Фрост, и Сальвадор Дали, и Артур Годфри, – словом, много знаменитостей. «Валяйте, черт подери! Расскажите всем правду! – говорит Элиот. – Ей-богу, давно пора. А если вам понадобится побольше денег, чтобы написать побольше правды, приходите опять ко мне». И этот несчастный Артур совершенно ошалел, стал ходить между гостями, всем показывал чек, спрашивал, неужели он настоящий? Все ему говорят – да, чек замечательный, огромный. Он опять подошел к Элиоту, просил подтвердить, что это не розыгрыш, не шутка. И тут он почти что в истерике стал умолять Элиота: «Подскажите мне, что писать?» «Правду», – говорит Элиот. А тот упраскивает: вы, говорит, мой покровитель, я подумал, что вы, именно как мой покровитель, мне... ну... подскажете...

«Вовсе я не ваш покровитель, – говорит Элиот. – Я такой же американец, как вы, который дал вам денег, чтобы вы нам рассказали правду, как она есть. А это совсем другое дело». – «Понимаю, понимаю... Так оно и должно быть. Этого я и хочу. Но просто я подумал – может быть, есть какая-то определенная тема, может, и вы хотели бы...» – «А вы сами выберите тему и смело возьмитесь за нее». – «Слушаюсь!» – И вдруг бедный Артур, сам не понимая, что он делает, вытянулся и отдал честь, хотя, по-моему, он никогда в жизни нигде не служил: ни в армии, ни во флоте. Отошел он от Элиота и опять стал приставать к нашим гостям, все выяснял, чем Элиот особенно интересуется. Потом опять подходит к Элиоту и говорит, что сам он когда-то бродил с фермы на ферму, собирал фрукты. И вот теперь он решил написать цикл поэм о том, до чего эти сборщики фруктов скверно живут.

И тут Элиот выпрямился во весь рост, глаза у него засверкали, он посмотрел на Артура сверху вниз и сказал громко, чтобы все гости слышали: «Сэр! Отдаете ли вы себе отчет, что Розуотеры являются не

только основателями, но и главными пайщиками акционерного общества «Юнайтед фрут компани»?»

– Ничего подобного, – сказал сенатор.

– Ну конечно, – сказала Сильвия.

– Разве у Фонда Розуотера есть сейчас какие-нибудь акции в этой компании? – спросил сенатор Мак-Алистера.

– Да что-то около тысячи штук, – сказал Мак-Алистер.

– Совершенная ерунда.

– Конечно, – согласился Мак-Алистер.

– Бедный Артур покраснел как рак, куда-то поплелся, потом вернулся и очень робко спросил Элиота, кто его любимый поэт. «Имени его я не знаю, – сказал Элиот, – а жаль: потому что его стихи я запомнил наизусть, а я вообще стихов не запоминаю». – «А где вы их прочитали?» – «На стенке, мистер Ульм, на стене мужской уборной в пивном баре при гостинице «Лесная обитель» между округами Розуотер и Браун, в штате Индиана».

– Очень странно, – сказал сенатор, – удивительно странно. Ведь гостиница «Лесная обитель» давным-давно сгорела, да, сгорела, должно быть, году в тридцать четвертом, что ли. Странно, что Элиот ее помнил.

– А он там бывал? – спросил Мак-Алистер.

– Один раз, один-единственный, насколько я помню, – сказал сенатор. – Ужасная дыра, воровской притон. Мы бы никогда там не остановились, если бы у нас в машине не заглох мотор. Элиоту было лет десять – двенадцать. Наверное, он воспользовался уборной, наверное, прочел там что-то на стенке и навсегда запомнил. – Сенатор покачал головой. – Странно, очень странно.

– А какие это были стихи? – спросил Мак-Алистер.

Сильвия заранее извинилась перед обоими стариками – стихи были не совсем приличные – и прочла то, что громко, на весь зал, Элиот когда-то продекламировал несчастному Ульму:

Не мочились никогда мы  
В пепельницы ваши,  
Не бросайте же окурков  
В писсуары наши!

– Бедный поэт заплакал и убежал, – продолжала Сильвия, – а я несколько месяцев подряд со страхом распечатывала все бандероли, боялась, что вдруг там окажется отрезанное ухо Артура Гарвея Ульма!

- Значит, ненавидит искусство, – сказал Мак-Алистер.  
Он тихонько посмеивался.
- Но ведь Элиот – сам поэт, – сказала Сильвия.
- Первый раз слышу, – сказал сенатор. – Никогда никаких его стихов не читал.
- А мне он часто писал стихи, – сказала Сильвия.
- Наверное, он больше всего любит писать на стенках общественных уборных. Я часто думал – да кто же это пишет? Теперь знаю кто: мой сын-поэт.
- А он действительно пишет на стенах в уборных? – спросил Мак-Алистер.
- Да, говорят, что пишет, – сказала Сильвия. – Но пишет он самые невинные вещи, ничего неприличного. Когда мы жили в Нью-Йорке, мне многие говорили, что Элиот постоянно пишет в уборных одну и ту же сентенцию.
- А вы помните, что именно?
- Да. *«Если тебя разлюбят или забудут, держись стойко!»*
- Насколько я понимаю, это – его собственное творчество.

А в это время Элиот пытался усыпить себя, читая рукопись романа, написанного именно тем самым Артуром Гарвеем Ульмом.

Роман назывался *«Мандрагоре дай дитя»*. Это была цитата из стихотворения Джона Донна. На титуле стояло посвящение: *«Сострадательной моей Бирюзе – Элиоту Розуотеру»*. И под этим посвящением – снова цитата из Джона Донна:

Как бирюза нам сострадать умеет:  
Хозяин страждет – и она бледнеет.

К рукописи было приложено письмо, где Ульм сообщал, что книга выйдет в издательстве «Палиндром-пресс» перед самым Рождеством и вместе с книгой *«Колыбель эротики»* будет выставлена на соискание премии одного из самых крупных литературных клубов.

*Вы, наверное, забыли меня, Сострадательная Бирюза, – писал он дальше. – Тот Артур Гарвей Ульм, которого вы знали, заслуживает забвения. Какой он был трус, какой дурак, вообразивший, что он – поэт.*

*Как долго-долго он не мог понять до конца – сколько доброты, сколько благородства крылось в вашей жестокости! Как много вы умудрились рассказать мне о моих недостатках, о том, как мне от них избавиться, – и как мало слов вам для этого понадобилось! И вот теперь (четырнадцать лет спустя) перед вами восемьсот страниц моей прозы. Без вас они никогда не были бы созданы, – я вовсе не хочу сказать «без ваших денег». Деньги – дерьмо, и об этом я тоже пытался рассказать в моей книге. Нет, я говорю о том, как вы настаивали, что надо рассказать правду о нашем больном, тяжело больном обществе и что слова для такого рассказа можно найти даже на стенах общественных уборных.*

Элиот совершенно забыл, кто такой Артур Гарвей Ульм, и тем труднее ему было вспомнить, какие наставления он давал этому человеку. Сам Ульм писал об этом настолько туманно, что догадаться было невозможно. Но Элиот был очень доволен, что дал кому-то полезный совет, и даже приятно удивился, читая декларацию Ульма:

*«Пусть меня расстреляют, пусть повесят, но я выложил им всю правду. Пусть скрежещут зубами фарисеи, извращенцы с Мэдисон-авеню и всяческие ханжи – этот скрежет мне слаще музыки. С вашей вдохновенной помощью я выпустил из бутылки джинна – всю правду о них, и теперь никогда, никогда не загнать эту правду в бутылку!»*

Тут Элиот стал жадно листать рукопись: интересно, какую такую правду открыл Ульм, за что его захотят убить?

## **ГЛАВА ПЕРВАЯ**

«Я выкручивал ей руку, пока она не разжала колени, вскрикнув то ли от боли, то ли от восторга (разве поймешь женщину?), когда мой Великий Мститель проник в свои владения...»

Элиот вдруг почувствовал неуместное возбуждение.

– Фу ты, пропасть! – сказал он своему продолжателю рода человеческого. – До чего у тебя все некстати!

– Да, был бы у вас ребенок! – повторил сенатор. Но вместе с глубоким сожалением в нем вдруг проснулось раскаяние: как жестоко, подумал он, говорить о нерожденном ребенке с той самой женщиной, которой не дано было произвести на свет это чудо-дитя.

– Прости старого дурака, Сильвия. Понимаю, что ты иногда благодаришь Создателя, что у вас нет детей.

Сильвия, выплакавшись как следует в ванной, теперь как-то неопределенно развела руками, словно пытаюсь показать, что она, конечно, была бы рада ребенку, но и жалела бы его.

– Но благодарить Создателя, что его нет, я никогда не стану, – добавила она.

– Можно мне задать один сугубо личный вопрос?

– Жизнь все время задает нам такие вопросы.

– Как по-твоему, есть ли хоть малейшая надежда, что у Элиота *еще* могут быть дети?

– Но я не видела его три года.

– Но я прошу тебя, так сказать, экстраполировать такую возможность.

– Одно могу добавить, – сказала Сильвия. – Чем дольше мы жили вместе, тем больше любовь для нас обоих превращалась в какое-то безумие. Он был одержим этой любовью, но иметь своих детей он никогда не хотел.

– Да, если бы только я уделял больше внимания мальчику, – огорченно сказал сенатор, пожевав губами. Он поморщился. – Заходил я к этому психоаналитику, у которого Элиот лечился тогда в Нью-Йорке, только в прошлом году собрался наконец к нему пойти. Вообще выходит так, будто до всего, что касается Элиота, я дохожу с опозданием лет на двадцать. Дело в том, что я... что мне... мне казалось немыслимым, что такой великолепный экземпляр когда-нибудь может прийти черт знает до чего.

Мушари старался скрыть, с какой жадностью он дожидается клинических подробностей болезни Элиота, и весь напрягся, надеясь, что сейчас кто-то попросит сенатора продолжать рассказ. Но все молчали. И Мушари выдал себя:

– Так что же сказал вам доктор?

И сенатор, ничего не подозревая, стал рассказывать дальше:

– Эти доктора никогда не хотят говорить о том, о чем их спрашиваешь. Всегда сводят на другое. Как только он узнал, кто я такой, он не захотел говорить об Элиоте. Он хотел говорить только о «Законе Розуотера».

Сам сенатор считал «Закон Розуотера» лучшим своим произведением. По этому закону всякое распространение и хранение непристойных материалов объявлялось государственным преступлением, наказуемым либо штрафом до пятидесяти тысяч долларов, либо тюремным заключением на десять лет, без права выдачи на поруки. Текст закона был настоящим произведением искусства, так как в нем было дано точное

определение, что такое «непристойность».

«Непристойность, – говорилось в законе, – есть любая картина, патефонная пластинка или письменное произведение, привлекающее внимание к детородным органам, человеческим выделениям или к волосяному покрову тела».

\* \* \*

– Этот психоаналитик все допытывался, какое у меня было детство, – пожаловался сенатор. – Он все хотел узнать, как я отношусь к волосяному покрову тела. – Сенатор передернулся. – Я вежливо попросил его не касаться этой темы, потому что, насколько я знаю, все порядочные люди питают к ней такое же отвращение, как и я. – Сенатор ткнул пальцем в Мак-Алистера, ему просто надо было к кому-то обратиться. – Вот вам ключ к порнографии. Мне многие говорят: «Но как же вы сумеете отличить порнографию от искусства? Как вы найдете правильный критерий?» Ну и все такое. А я зафиксировал этот критерий в моем законе: «Разница между порнографией и искусством состоит в отношении к волосяному покрову тела».

Тут сенатор покраснел, растерянно извинился перед Сильвией:

– Прошу прощения, моя дорогая.

Мушари снова попытался вызвать его на разговор:

– Значит, доктор *ничего* так и не сказал про Элиота?

– Этот чертов доктор сказал, что Элиот ни черта ему не рассказывал, кроме всем известных исторических фактов, главным образом касающихся того, как притесняли бедняков и людей чудаковатых. Он заявил, что ставить диагноз болезни Эли-ота значило бы безответственно заниматься пустыми домыслами. Но ведь я – отец, и меня глубоко беспокоит здоровье сына. «Прошу вас, – говорю я доктору, – высказывайте любые догадки насчет моего сына, я снимаю с вас всякую ответственность. Я вам буду весьма благодарен за все, что вы мне расскажете о нем, все равно, верно это или нет, потому что сам я уже много лет его совершенно не понимаю – не знаю, хорошо это или плохо, ответственно или безответственно. Так что вы сами, доктор, поковыряйтесь вашей нержавеющей ложечкой в мозгу у меня, старика». А он говорит: «Но, прежде чем вдаваться во всякие домыслы, ответственные или безответственные, мне придется коснуться всяких сексуальных отклонений. Но так как это затронет и Элиота, что,

разумеется, может вас очень огорчить, не лучше ли нам вообще закрыть эту тему?» – «Нет, говорю, валяйте, я ведь сам старый греховодник, а говорят, что старого греховодника ничем не смутишь, при нем стесняться нечего. Правда, я сам раньше так не считал, но давайте попробуем!» – «Хорошо, – говорит он. – Предположим, что молодой, здоровый мужчина должен в норме испытывать сексуальное влечение к привлекательной для него женщине. Разумеется, не к матери, не к сестре; но если он испытывает такое влечение к другим объектам, например к мужчине, или возбуждается при виде зонтика, или страусового боа императрицы Жозефины, или при виде овцы, или покойника, украденных им женских подвязок, или сексуально воспринимает свою мать, – мы его считаем сексуальным психопатом, *человеком извращенным*».

Я ответил, что я, конечно, всегда знал о существовании таких ненормальных, но никогда о них особенно не думал, потому что про них особенно и думать нечего.

«Отлично, – сказал доктор, – у вас спокойное, разумное отношение, сенатор Розуотер, хотя, откровенно говоря, я несколько удивлен. Давайте же сразу установим, что любой случай сексуального извращения есть результат нарушенных и перепутанных контактов в мозгу. Мать-природа и наше общество установили закон, по которому человек должен направлять свое сексуальное влечение на определенный предмет и удовлетворять это влечение именно там и именно так, как положено. Несчастный больной человек, с перепутанными в мозгу контактами, противоестественно возбуждается не тем, чем надо, и с пылом, с полной отдачей совершает какой-нибудь нелепый, чудовищный проступок, и хорошо, если его просто изобьют до полусмерти полисмены, а не растерзает разъяренная толпа».

– Впервые за много лет меня охватил ужас, – продолжал сенатор, – и я так и сказал этому доктору.

«Отлично, – сказал он опять. – Для врача нет более полного удовлетворения, чем довести несведущего человека до полного ужаса, а потом вернуть ему спокойствие. Конечно, у Элиота контакты в мозгу нарушены и перепутаны, но те несоответственные поступки, на которые он из-за короткого замыкания переключил свою сексуальную энергию, не так уж предосудительны». – «На что же он *переключился*! – спрашиваю, а сам помимо воли думаю, неужели Элиот крадет дамские панталоны или в метро отхватывает ножницами прядь волос у девочек? – Говорите, доктор, скажите мне всю правду, – на что Элиот переключил свое сексуальное влечение?» – «На Утопию», – говорит.

Мушари так расстроился, что от огорчения громко чихнул.



У Элиота все больше тяжелели веки, но он пытался дочитать роман «Мандрагоре дай дитя». Хотелось найти те места, от которых ханжи скрежетали зубами. Он нашел там описание случая с судьей, которого ославили за то, что он ни разу не дал своей жене настоящего удовлетворения, потом прочел рассказ про агента *мыльной* фирмы, который в пьяном виде заперся в своей квартире и нарядился в подвенечное платье своей матери. Элиот поморщился, подумал, что, может быть, такие штучки и сгодятся, чтобы дразнить фарисеев, но тут же решил – вряд ли...

Дальше он прочитал, как невеста этого самого агента по рекламе мыла соблазняла папашиного шофера. Первым делом она игриво откусила пуговицу с его форменной куртки. На этом месте Элиот заснул крепчайшим сном.

Телефон прозвонил три раза.

– Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

– Вы меня не знаете, мистер Розуотер, – сказал раздраженный мужской голос.

– А кто вам сказал, что это имеет значение?

– Я ничтожество, мистер Розуотер, я хуже всякого ничтожества.

– Видно, Создатель тут допустил ошибку?

– Да. Зря Он меня создал, ошибся.

– Вы правильно выбрали, кому пожаловаться.

– Что это у вас за учреждение?

– А как вы про нас узнали?

– Увидал в телефонной будке наклейку – такая черная с желтым. А там написано: «САМОУБИЙЦА, НЕ ТОРОПИСЬ ПОКОНЧИТЬ С ЖИЗНЬЮ. ПОЗВОНИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИВАТЬ СЕБЯ, В ФОНД РОЗУОТЕРА!» – и ваш номер телефона.

Такие наклейки были наклеены почти на всех задних стеклах легковых машин, на кузовах грузовиков добровольной пожарной бригады.

– А знаете, что написано там, в телефонной будке, карандашом?

– Нет.

– «Элиот Розуотер святой. Тебя любит он и денег даст. Но если захочешь чего покрепче, позабористей, звони Мелиссе – лучшей штучки во всем штате нет» – и ее телефон.

– Вы в наших краях чужой?

– Я во всех краях чужой. А у вас тут что? Секта какая-то? Новая религия?

– Я лично вдвойне умудренный баптист-детерминист.

– Что-что?

– Я так отвечаю, когда кто-нибудь настаивает, что я, вероятно, проповедую какую-нибудь религию. А такая секта и вправду существует, и, вероятно, люди они хорошие. У них принято омыwać друг другу ноги, и денег их пастыри ни от кого не берут. А я тоже ноги себе мою, а денег ни у кого не беру.

– Не понимаю я вас, – сказал голос.

– Да я шучу, чтобы вы не дичились меня, не подумали, что со мной надо говорить только всерьез. Кстати, вы сами случайно не из этих баптистов-детерминистов?

– Упаси Бог, что вы!

– А ведь их сотни две, не меньше, и вполне возможно, что когда-нибудь я скажу одному из них то, что я вам сейчас наболтал. – Элиот отпил глоток виски. – Очень я этого боюсь и знаю, что так и будет.

– Что-то голос у вас нетрезвый. Слышал, как вы чего-то хлебнули.

– Пусть будет так. Но все же, чем я могу вам помочь?

– Да *кто вы такой*, черт вас побери?

– Правительство.

– Что-что?

– Если я не служитель церкви и все же стараюсь удержать людей от самоубийства, значит, я, очевидно, представитель правительства. Логично?

Голос что-то пробормотал.

– Или же общая жилетка – плачь в нее, кто хочет.

– Вы, кажется, состригли?

– Я-то знаю, сострил я или нет, а вы сами догадайтесь.

– Может, по-вашему, остроумно и наклейки писать насчет тех, кто решился покончить с собой?

– А вы *тоже* решились?

– Ну и что?

– Не стану вам приводить два неоспоримых довода, почему стоит жить, не стану рассказывать, как я это открыл.

– А что же вы станете говорить?

– Прошу вас назвать какую-нибудь очень скромную сумму, за которую вы согласились бы прожить еще неделю.

Голос молчал.

– Вы меня слышите? – спросил Элиот.  
– Слышу.  
– Но может быть, вы и не собираетесь покончить с собой? Тогда, пожалуйста, повесьте трубку – телефон может понадобиться и другим людям.  
– Мне кажется, вы сумасшедший.  
– Но покончить с собой собираетесь вы, а не я.  
– А что, если я вам скажу, что и за миллион не соглашусь прожить еще неделю?  
– Я вам отвечу: ну и помирайте! Попробуйте попросить тысячу.  
– Ладно, за тысячу.  
– Ну и помирайте! Спустите до сотни.  
– Давайте сотню.  
– Вот теперь договорились. Зайдите к нам в контору. – Элиот назвал свой адрес. – Собак у пожарной части не бойтесь, – добавил он, – они кусаются, только когда завоет сирена.

Кстати, про эту сирену. Насколько Элиоту было известно, во всем Западном полушарии не было сигнала тревоги громче ее. Она приводилась в действие мессершмитовским мотором в семьсот лошадиных сил, с электрическим генератором в тридцать лошадиных сил. Во время Второй мировой войны эта сирена была главным сигналом тревоги в Берлине. Фонд Розуотера перекупил ее у правительства ФРГ и послал в дар пожарной бригаде от Неизвестного. Когда сирену доставили в город, на грузовике при ней была только короткая записочка: «Привет от друга».

Все записи Элиот вел в тяжелой конторской книге, обычно лежавшей у него под кроватью. Переплет на ней был из черной тисненой кожи, бумага зеленоватая, чтобы глаза не уставали, и все триста страниц разграфлены. Элиот назвал эту книгу «Книга Судного дня». С самого первого дня деятельности Фонда в округе Розуотер Элиот вносил сюда имена каждого своего клиента, все его жалобы и что для него сделал Фонд Розуотера.

Весь том был уже почти заполнен, но только Элиот или покинувшая его жена могли разобраться в этих записях.

Сейчас Элиот записывал данные того самого потенциального самоубийцы, который явился к нему после телефонного разговора и только что ушел в довольно мрачном настроении, словно он хотя и подозревает, что его не то надули, не то осмеяли, но как и почему, понять не может.

«Шерман Лесли Литтл, – записывал Элиот. – ИНД, СКЛ-СМБ-РАБ-МЕТ-ВВМВ-БЗРБ-ЖЕН-ЗДЕЙ-СР-ЭПЛ-ВД-ФР-300» – это означало, что

Литтл родом из Индианаполиса, склонен к самоубийству, рабочий-металлист, ветеран Второй мировой войны, сейчас безработный, женат, трое детей, средний – эпилептик и что ему выдано из Фонда 300 долларов.

Но чаще вместо денежной ссуды в книге «Отчета» был записан лаконичный рецепт: АВ. Элиот прописывал это средство людям, которые по любой причине, а чаще и вовсе безо всякой причины, впадали в уныние. «Знаете, что я вам посоветую, мой друг: примите таблетку аспирина и запейте водичкой».

ОНМ – означало «охота на мух». Дело в том, что у многих людей возникала неодолимая потребность сделать для Элиота что-нибудь приятное. Тогда он их просил собраться в определенное время и устроить у него в конторе охоту на мух. Во время самого мушиного сезона такая работа была потруднее чистки авгиевых конюшен, потому что сеток от мух Элиот на окна не вешал, а кроме того, его контора была непосредственно связана с грязнейшей кухней при закусочной в нижнем этаже, откуда через отдушину в полу шел смрадный и сальный чад.

Эта мушиная охота стала настоящим обрядом, и обрядом настолько разработанным, что обычные хлопушки для мух в нем не употреблялись. Мужчины работали по своей системе, женщины – по своей. Орудием мужчин были резиновые ленты, орудием женщин – стаканчики теплой воды с мыльной пеной.

Техника работы с резиновой лентой заключалась в следующем. На ленте делалась прорезь посреди полоски. Лента натягивалась обеими руками, и охотник смотрел в прорезь, как в прицел винтовки, высматривая зазевавшуюся муху, и щелкал лентой, когда муха оказывалась под прорезью в поле зрения. При удачном щелчке муха превращалась в пыль, чем и объяснялся странноватый цвет стенок и деревянных вещей в конторе Элиота, почти сплошь покрытых высохшим пюре из мух.

Техника работы с водой и мыльной пеной заключалась в следующем. Охотница высматривала муху, сидящую на стенке вниз головой. Она осторожно подставляла стаканчик с мыльной пеной под муху, пользуясь тем широко известным в науке фактом, что висят вниз головой муха, почуяв опасность, срывается в свободном падении вниз дюйма на два, прежде чем раскрыть крылышки. В идеале муха не почует опасности, прежде чем стаканчик не окажется прямо под ней. И тут она послушно падает в мыльную пену, где и тонет после недолгой борьбы.

Про этот способ Элиот говорил: «Ни одна женщина в него не верит, пока сама не испробует. Но стоит ей убедиться, что дело идет, она иначе и работать не станет».

В конце книги был записан совершенно черновой набросок романа – Элиот начал его писать несколько лет тому назад, когда впервые понял, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.

Отчего души умерших так часто добровольно возвращаются на Землю, где они страдали и умирали, страдали и умирали, страдали и умирали? Потому что Небеса – Ничто. И над «энтими райскими вратами» надо бы «выпуклить» золочеными буквами:

«ВСЯКОЙ МАЛОСТИ, ГОСПОДИ, ДОЛГО-ДОЛГО ПРЕБЫВАТЬ СУЖДЕНО».

Но райские врата, коим конца-краю не видать, нераскаявшиеся грешники, окаянные души, сплошь исчиркали заборными надписями:

«Добро пожаловать на Всемирную Ярмарку Народного Искусства Болгарии!» – гласит карандашная надпись. А под ней: «Лучше быть красным, чем трупом несчастным», – философствует некий писака.

«Ты не настоящий мужчина, пока не попробовал черного мяса!» – советует кто-то. А другой поправляет: «Ты не настоящий мужчина, если ты сам – не из черного мяса!»

«Кого бы мне тут употребить?» – и ему отвечают: «Смотри “Употребление теоремы профессора Эванса”».

А вот и мой вклад:

Тот, кто пишет на стене,  
Пусть копается в г. не,  
Кто читает – в основном,  
Пусть питается г. ном.

«Кубла-Хан, Наполеон, Юлий Цезарь и Ричард Львиное Сердце – просто вонючки!» – заявлял какой-то храбрец. Никто его не опровергал. Да и от самих этих оскорбленных ждать опровержений не стоило. Бессмертная душа Кубла-Хана ныне обитала в убогом теле жены ветеринара из города Лима, в Перу. Бессмертная душа Бонапарта глядела на свет Божий из распаренного потного тела четырнадцатилетнего парнишки, сына надсмотрщика гавани в Котьюте, штат Массачусетс. Душа великого Цезаря кое-как прижилась в сифилитическом теле вдовой карлицы с Андаманских островов, а Ричард Львиное Сердце снова попал в плен после неоднократного переселения душ и сейчас живет во плоти Коуча Летцингера, жалкого эксгибициониста и любителя рыться в помойках

города Розуотера, штат Индиана. Раза три-четыре в год Коуч, с запрятанной в него душой бедного старого Ричарда Львиное Сердце, отправляется на автобусе в Индианаполис, надев для такого случая лишь носки с башмаками, подвязки и длинный макинтош и повесив на шею посеребренный свисток... Приехав в Индианаполис, Коуч идет в ювелирный отдел одного из больших универмагов, где всегда полно невест, выбирающих столовое серебро для будущего хозяйства. Коуч свистит в свой свисток, девушки оглядываются. Коуч распахивает макинтош, сразу запахивает его и бежит со всех ног – ловить обратный автобус в Розуотер.

Скучно на небесах до одури, – писал Элиот дальше в своем романе, – и поэтому большинство усопших становится в очередь на переселение душ, и снова рождаются, снова живут и любят, страдают и умирают, и снова становятся в очередь для нового перевоплощения в темную оболочку. Они ничего не выклянчивают, не выпрашивают для себя: ни расы, ни пола, ни национальности, ни класса. Одного они хотят, одно им и дается – снова прожить в трех измерениях определенный, весьма скудный отрезок времени в оболочке, отделяющей внутренний мир от внешнего.

А в небесах ни внутреннего, ни внешнего мира нет. Путь за Вратами Рая ведет из Никуда в Никуда, из Повсюду в Повсюду. Представьте себе бильярдный стол длиннее и шире Млечного Пути. Не забудьте одну деталь: у этого «стола» безукоризненно гладкая поверхность, на которую наклеено зеленое сукно. Представьте себе Врата в самом центре стола. И каждый, у кого хватит воображения, сразу уразумевает, что такое рай, и посочувствует душам, которые жаждут снова ощутить разницу между миром внутренним и внешним.

Но как ни тягостен загробный мир, есть среди нас души, не желающие нового воплощения. И я из их числа. Я не возвращался на Землю с 1587 года н. э., когда в теле некой Вальпурги Хаусманн меня казнили в австрийском поселке Диллинген. Моему тогдашнему телу было предъявлено обвинение в колдовстве. Услышав это обвинение, душа моя, разумеется, возжелала покинуть мою плоть, в коей она, кстати, обитала уже более восьмидесяти пяти лет. Однако моей душе пришлось остаться в этом несчастном старом теле, когда его привязали к колоде, бросили в тележку и отвезли в ратушу. Там мне разорвали левое плечо и левую грудь раскаленными щипцами. Затем мы проехали через нижние ворота, где мне разорвали правое плечо. Затем меня повезли к дверям больницы, где разорвали правую грудь. И наконец, меня вывезли на сельскую площадь. Ввиду того, что я шестьдесят два года была ученой и законно практикующей повитухой, а вела себя так гнусно, мне отрезали правую

руку. А потом привязали меня к позорному столбу, сожгли на костре и развеяли мой прах над ближней рекой. С тех пор я на землю не возвращалась.

Обычно те души, чью несчастную плоть здесь так жестоко и медленно пытали и мучили, не хотели возвращаться на нашу добрую, старую Землю – этот факт явно говорил в пользу защитников смертной казни, телесных наказаний и жестокой борьбы с преступностью. Но в последнее время начались какие-то странные явления: нашего полку прибыло, многие ни за что не хотят возвращаться, даже те, которые, по нашим стандартам, практически никаких особенных, чудовищных мучений на Земле не испытали. Может, ногу ушибли или что-то вроде того. Но они прибывают к нам на небо целыми батальонами, оглушенные, как после контузии, и воют в голос: «Ни за что! Никогда!»

«Что это за люди? – спрашиваю я себя. – Что там с ними стряслось такое невообразимо страшное?» И тут я понимаю, что ответ на мой вопрос я смогу получить, только ожив снова. Придется мне заново родиться.

Только что мне сообщили, меня переселят туда же, где во плоти обитает душа Ричарда Львиное Сердце, а именно в округ Розуотер, штат Индиана.

Зазвонил черный телефон Элиота.

– Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

– Мистер Розуотер, – сказал дрожащий женский голос, – говорит Стелла Вэйкби. – Голос умолк в ожидании ответа.

– А-а, здравствуйте, – ласково сказал Элиот. – *Как мило*, что вы позвонили! Рад вас слышать! – Он понятия не имел, кто такая эта Стелла.

– Мистер Розуотер, вы сами знаете, что я... я никогда ни о чем вас не просила.

– Знаю, конечно, знаю.

– У других людей бед меньше, а беспокоят они вас куда чаще.

– Я это за *беспокойство* не считаю. Правда, одни чаще обращаются, другие реже.

С Дианой Луун-Ламперс Элиот так часто возился, что перестал отмечать в книге, когда и чем он ей помог. Сейчас он наугад добавил:

– А я часто думал, какое тяжкое бремя вам выпало на долю, очень тяжело...

– Ох, мистер Розуотер, если бы вы только знали... – Она громко зарыдала: – Ведь мы всегда говорили – мы за *сенатора* Розуотера, а вовсе не за этого *Элиота*. Мы всегда жили самостоятельно, чего бы это ни

стоило. Сколько раз, бывало, прохожу на улице мимо вас и нарочно отворачиваюсь. И вовсе не потому, что я против вас, просто хотелось показать, что мы, Вэйкби, ни в чем *не нуждаемся*.

– Я так и понимал. И очень за вас радовался.

Элиот, конечно, не помнил, чтобы какая-то женщина от него отворачивалась на улице, да и выходил он из дому так редко, что у этой бедной Стеллы вряд ли была возможность проявлять свои чувства по отношению к нему. Он правильно догадывался, что живет она в горькой нужде где-то на окраине, редко показывается на людях в своем отрепье и только воображает, что и она как-то причастна к жизни города и что все ее знают, вполне возможно, она как-то раз и прошла по улице мимо Элиота, но этот единственный раз превратился в ее воображении в тысячу небывших встреч, и, как игра светотеней, перед ней возникали самые разнообразные драматические ситуации.

– Нынче ночью мне никак не спалось, вот и вышла побродить.

– Видно, вы часто так прогуливаетесь.

– Господи, мистер Розуотер, я и в полнолуние брожу, и когда месяц молодой, да и темной ночью расхаживаю.

– А сегодня еще и дождь идет.

– Дождь люблю.

– И я тоже.

– Нынче вышла, смотрю – у соседей свет горит.

– Слава Богу, что соседи близко.

– Постучала я к ним, они меня впустили. И я им говорю: «Мне помочь надо, мне без помощи никак нельзя, не знаю, куда мне деваться, так дальше жить нельзя, да и неохота мне жить, если сейчас меня не выручат. Не могу я больше стоять за сенатора Розуотера, больше мне неволю...»

– Полно, полно, не плачьте!

– Вот они и посадили меня в машину, повезли к телефонной будке и говорят: «Ты позвони Элиоту, он тебе поможет». Вот я и *позвонила*.

– Хотите сейчас ко мне зайти, голубушка, или подождем до завтра?

– До завтра... – неуверенно повторил голос.

– Вот и чудесно. В любое удобное для вас время, дорогая моя.

– Значит, до завтра.

– До завтра, голубушка. И день, наверное, будет славный.

– Слава Богу!

– Что вы, что вы!

– Ох, мистер Розуотер, спасибо Господу, что *вы живете на свете!*



Элиот повесил трубку. Тут раздался телефонный звонок.

– Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

– Во-первых, пойді к парикмахеру. Во-вторых, купи себе новый костюм.

– Что-что?

– Элиот!

– Я.

– Ты даже не узнал мой голос.

– Я... я... виноват...

– Да это же твой *отец*, черт побери!

– *Отец*? Неужели ты? – Голос Элиота был полон любви, нежности, изумления. – До чего же я рад тебя слышать!

– Но ты меня даже не узнал!

– Прости... Тут мне звонят без конца, сам знаешь.

– Ах, звонят, и даже без конца?

– Ну ты же знаешь...

– Да, к сожалению, знаю.

– Ну, а *ты* как?

– Блестяще! – Голос сенатора был полон сарказма. – Лучше некуда!

– Как я рад за тебя.

Сенатор послал его подальше.

– Что с тобой, отец?

– Не смей со мной разговаривать как с пьяным дураком. Я тебе не сутенер какой-то! Я тебе не идиотка-прачка!

– Но что я такого *сказал*?

– Тон у тебя противный!

– Прости.

– Чувствую, сейчас начнешь советовать: «Примите таблетку аспирина, запейте глотком вина». Не смей со мной разговаривать *свысока*!

– Прости.

– Мне не нужно, чтоб за меня вносили деньги на покупку мотоцикла.

Элиот действительно сделал последний взнос за одного клиента в уплату за мотоцикл. Через два дня клиент разбился насмерть вместе со своей подружкой около Блумингтона.

– Конечно, знаю.

– Конечно, он все знает! – сказал сенатор кому-то в сторону.

– Отец... Голос у тебя такой *сердитый*, такой *несчастный*. – В голосе Элиота звучала искренняя тревога.

- Пройдет.
- Тебя что-то беспокоит?
- Пустяки, Элиот, мелочи. Мелочи, например, то, что семейство Розуотеров вымирает.
- Почему ты так *решил*?
- Только не говори мне, что ты забеременел.
- Но ведь есть еще наши родственники с Род-Айленда.
- Спасибо, утешил. А я совсем было запамятовал, что они существуют.
- Сколько иронии у тебя в голосе.
- Видно, телефон испорчен. А ты расскажи мне, что там у вас хорошего. Подбодри старого пердуна.
- Мэри Моды родила близнецов.
- Отлично! Отлично! Превосходно! Лишь бы хоть *кто-то* служил продолжению рода человеческого. Лишь бы хоть у *кого-то* появлялось потомство. Лишь бы хоть кто-то продолжал размножаться. Как же мисс Моды назвала новорожденных, этих маленьких граждан?
- Фокскрофт и Мелоди.
  
- Элиот...
- Да, сэр?
- Пожалуйста, посмотри хорошенько на самого себя.
- Элиот послушно оглядел себя со всех сторон. Насколько можно было видеть себя без зеркала.
- Посмотрел.
- А теперь спроси себя: «Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?»
- И Элиот послушно и без всякой иронии громко повторил:
- Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?
- Что же ты ответишь?
- Что это не сон, – сказал Элиот.
- Разве тебе не хочется, чтобы все *оказалось* сном?
- А каким бы я проснулся?
- Таким, каким тебе *следует* быть. Каким ты всегда был.
- Хочешь, чтобы я снова стал покупать картины в дар музеям? Ты стал бы мной гордиться, если бы я выдал два с половиной миллиона долларов на покупку картины Рембрандта «Аристотель созерцает бюст Гомера»?
- Зачем доводить наш спор до полного абсурда?
- Это не *моя* вина. Виной те люди, которые отдают такие деньги за

такие картины. Я показал репродукцию этой вещи Диане Луун-Ламперс, и она сказала: «Может, я темный человек, мистер Розуотер, но я бы такую картинку у себя в комнате ни за что не повесила».

– Слушай, Элиот...

– Да, сэр?

– Ты бы узнал, что о тебе думают в Гарварде.

– А я отлично знаю.

– Вот как?

– Они меня обожают. Посмотрел бы, какие письма мне оттуда пишут.

Сенатор подумал, что зря хотел поддеть Элиота насчет Гарварда и что Элиот действительно говорит правду про письма из этого университета, полные глубочайшего уважения.

– Бог мой, – сказал Элиот. – В конце концов, с самого основания Фонда Розуотера я этим людям выдавал по триста тысяч долларов в год, аккуратно, как часы. Ты бы почитал их письма.

– Элиот...

– Да, сэр?

– Сейчас, по странной иронии судьбы, наступает некий исторический момент, когда сенатор Розуотер, представитель штата Индиана, сам задаст собственному сыну вопрос: «Не коммунист ли ты сейчас или не был ли ты когда-либо коммунистом?»

– Бог ты мой. Как сказать, многим, конечно, мои мысли могут показаться близкими к коммунизму, – сказал Элиот простодушно. – Когда общаешься с бедняками, нельзя не столкнуться с тем, о чем писал Маркс, а кстати, и с тем, о чем говорится в Библии. Честное слово, по-моему, сущее безобразие, что у нас в стране люди не хотят делиться всеми благами. И со стороны правительства просто жестоко разрешать одним детям с самого рождения владеть огромной долей национального богатства – я сам тому пример, – а другим ничего не давать и держать в нищете с первых дней жизни. По-моему, государство могло бы по крайней мере оделять всех младенцев поровну с самого рождения. Жизнь и так трудная штука, зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег? У нас в стране всего хватит на всех, если только *делиться* между собой по справедливости.

– Что же тогда будет для людей движущей силой?

– А что, по-твоему, движет ими сейчас? Страх, что есть нечего будет, доктору платить нечем, что ребятам надеть нечего, что нет хорошей, удобной, уютной квартиры, настоящего образования, нет возможности хорошо отдохнуть, развлечься. Или стыд за то, что не знаешь, где

Денежный Поток?

– Это еще что такое?

– Там, где деньги текут рекой, откуда потоком льются богатства нашей страны. Мы родились на его берегах, как и многие ничем не примечательные люди. С ними мы росли, с ними ходили в привилегированные частные школы, плавали на яхтах, играли в теннис. Мы могли вволю налакаться из этого Денежного Потока. И даже учились, как бы вылакать побольше.

– Как это «учились лакать»?

– Да брали уроки у адвокатов. Консультировались у специалистов по налогам, у биржевиков. А родились мы настолько близко к этому Поток, что и мы сами, и поколений десять наших потомков могут хоть захлебнуться в этом богатстве, запросто черпать оттуда деньги ковшом, ведрами, чем угодно. А нам все мало, приглашаем специалистов, а они нас обучают, как пользоваться акведуками, плотинами, затонами, резервуарами, механическими ковшом, рычагом Архимеда. И к нашим наставникам тоже течет богатство, а их дети тоже платят, чтобы их научили, как вылакать денежек побольше.

– А я и не подозревал, что лакаю деньги.

Но Элиот так увлекся своими обобщениями, что отвечал отцу как-то бесчувственно, мимоходом:

– Оттого, что лакаешь с самого рождения. Такой человек не понимает, когда бедняки про нас говорят: «Вот наакался!» – не поймет, если при нем скажут: «Деньги текут рекой». А ведь многие утверждают, что никакого Денежного Потока нет. А я, как их услышу, всегда думаю: «Бог мой, какая наглая ложь, какая безвкусица!»

– Ты меня радуешь – заговорил о хорошем вкусе, – съязвил сенатор.

– Неужели ты хочешь, чтобы я снова слушал оперы? Неужели ты хочешь, чтобы я построил образцовый особняк в образцовом поселке и опять ходил на яхте с утра до вечера?

– Кому какое дело, чего бы я хотел...

– Допустим, что живу я сейчас не в Тадж-Махале. А почему мне жить хорошо, когда другие американцы живут так скверно?

– Может быть, перестань они верить во всякую чепуху, вроде твоего Денежного Потока, да возмись как следует за работу, они и жить стали бы не так скверно.

– А если нет Денежного Потока, откуда же ко мне каждый день притекает десять тысяч долларов? Хотя вся моя работа – дремать да

почесываться и еще изредка отвечать на телефонные звонки?

– Пока еще у нас в Америке каждый может нажить капитал.

– Конечно, лишь бы еще смолodu кто-то показал ему, откуда деньги льются рекой, разъяснил, что честным путем ничего не добиться, что настоящую работу лучше послать к чертям, забыть, что каждый должен получать по труду и всякую такую ерундистику, и просто подобраться к Денежному Потоку. «Иди туда, где собрались богачи, заправились, сказал бы я такому юнцу, поучись у них, как обдeldывать дела. Они падки на лесть, но и запугать их легко. Ты к ним подольстись как следует или пугни их как следует. И вдруг они безлунной ночью приложат палец к губам – тише, мол, не шуми, и поведут тебя во тьме ночной к самому широкому, самому глубокому Денежному Потоку в истории человечества. И тебе укажут, где твое место на берегу, и выдадут тебе персональный черпак – черпай себе вволю, лакай вовсю, только не хлюпай слишком громко, чтобы бедняки не услышали...»

Сенатор крепко выругался.

– Что ты, отец, зачем ты так? – Голос Элиота прозвучал очень ласково.

Сенатор выругался еще крепче.

– Почему в наших разговорах каждый раз возникает такая *горечь*, такая напряженность? Я так тебя люблю.

– Ты похож на человека, который встал бы на углу с роликом туалетной бумаги, где на каждом квадратике написано: «Я вас люблю». И всякому, кто бы ни прошел, выдавал бы такой квадратик с надписью. Не нужна мне твоя туалетная бумажка.

– Не понимаю, какое тут сходство с *туалетной бумагой*?

– Пока ты не бросишь пить, ты вообще ничего не поймешь. – Голос сенатора дрогнул. – Передаю трубку твоей жене. Ты понимаешь, что ты ее потерял? Понимаешь, какой она была прекрасной женой?

– Элиот?.. – испуганно, чуть слышно окликнула его Сильвия.

Бедняжка весила не больше, чем подвенечная фата.

– Сильвия. – Голос звучал суховато, твердо, без волнения. Элиот писал ей тысячу раз, звонил без конца. И сейчас она с ним впервые заговорила.

– Я... я понимаю, что вела себя нехорошо.

– Зато вполне по-человечески.

– А разве я могла иначе?

– Нет.

– А кто мог бы?

– Насколько я понимаю, никто.

– Элиот...

– Да?

– Как... как они все?

– Здесь?

– Везде.

– Прекрасно.

– Я рада.

Пауза...

– Если я начну расспрашивать про... про кого-нибудь, я заплачу.

– Не спрашивай.

– У кого-то родился ребенок?

– Не спрашивай.

– Ты, кажется, сказал отцу, что кто-то родил.

– Не спрашивай.

– У кого ребенок, Элиот? Скажи, я хочу знать.

– О Господи Боже, не спрашивай.

– Скажи, скажи мне!

– У Мэри Моды.

– Близнецы?

– Ну конечно.

И тут Элиот выдал себя с головой: он явно не питал никаких иллюзий насчет тех, кому посвятил свою жизнь.

– И вырастут они, наверное, поджигателями, – добавил он, так как семейство Моды славилось не только частым рождением близнецов, но и преступными поджогами.

– А малыши славные?

– Да я их не видел, – сказал Элиот раздраженным тоном, которым он не говорил с ней при других.

– А ты им уже послал подарок?

– С чего ты взяла, что я все еще рассылаю подарки? – Речь шла о том, что Элиот обычно посылал в подарок каждому новорожденному в округе акцию одной из своих машиностроительных компаний.

– Разве ты больше ничего не посылаешь?

– Ну посылаю, посылаю. – По его тону было слышно, как ему это осточертело.

– Голос у тебя усталый.

– Телефон плохо работает.

– Расскажи, какие у тебя новости?

– Моя жена по совету врачей разводится со мной.

– Неужели нельзя обойти эту новость?

Сильвия не шутила, горечь звучала в ее голосе: зачем касаться этой трагедии? Не надо было обсуждать.

– Топ-топ, обошли, – равнодушно сказал Элиот.

Элиот отпил глоток «Южной улады», но не насладился, а закашлялся.

Закашлялся и его отец. Это было случайное совпадение: отец с сыном, оба безутешные, оба – неудачники, одновременно раскашлялись. Кашель услышала не только Сильвия, но и Норман Мушари. Мушари, незаметно выскользнув из гостиной, нашел отводную трубку в кабинете сенатора, и уши у него так и горели, когда он подслушивал разговор с Элиотом.

– Что ж, мне, наверное, пора проститься с тобой, – виновато сказала Сильвия. Лицо у нее было залито слезами.

– Это уж пусть решает твой врач.

– Передай – передай всем привет.

– Непременно, непременно!

– Скажи, что я постоянно вижу их во сне.

– Это для них большая честь.

– Поздравь Мэри Моды с рождением близнецов.

– Обязательно. Завтра буду их крестить.

– Крестить? – Этого Сильвия не ожидала.

У Мушари забегали глаза.

– Я... я не знала, что ты... что ты этим занимаешься, – опасливо проговорила Сильвия.

Мушари с удовольствием услышал тревогу в ее голосе. Подтверждались все его подозрения: безумие Элиота явно прогрессировало, и он уже начинал впадать в религиозное помешательство.

– Мне никак нельзя было отказаться, – сказал Элиот. – Она не отставала, а больше никто не соглашается.

– Вот как! – Сильвия облегченно вздохнула.

Но Мушари ничуть не огорчился. В любом суде это крещение могло послужить неоспоримым доводом, что Элиот считает себя Мессией.

– Я ей объяснял, объяснял, – сказал Элиот, но Мушари пропустил мимо ушей это оправдание – в мозгу у него были для этого специальные клапаны. – Говорю: я к религии отношения не имею, и на небесах никакие мои действия все равно не зачтутся, но она уперлась и никак не отставала.

– А что ты будешь говорить? Что будешь делать?

– Сам не знаю. – Элиот явно оживился, словно вдруг исчезли и усталость, и огорчение, видно, ему вдруг понравилась эта мысль. Он даже

неуверенно улыбнулся.

– Я, наверное, зайду к ней в лачугу. Окроплю близнецов водичкой, скажу: «Привет, малыши. Добро пожаловать на нашу землю. Тут жарко летом, холодно зимой. Она круглая, влажная и многолюдная. Проживете вы на ней самое большее лет до ста. И я знаю только один закон, дети мои:

**НАДО БЫТЬ ДОБРЫМ, ЧЕРТ ПОДЕРИ!»**



В этот же вечер Элиот и Сильвия договорились встретиться через три дня, вечером, в апартаментах «Синяя птица» отеля «Марот» в Индианаполисе, чтобы окончательно распрощаться. Ничего не могло быть опаснее для двух людей, очень любящих и очень неуравновешенных, чем такая встреча. К концу разговор стал совершенно невнятным – оба что-то шептали, жаловались на одиночество и наконец решили встретиться и договориться.

– Элиот... А может быть, не надо?

– По-моему, надо.

– Надо... – как эхо повторила она.

– Разве ты сама не чувствуешь, что нам надо встретиться?

– Да.

– Такова жизнь.

Сильвия покачала головой:

– Любовь... Какое это проклятье...

– Все будет хорошо, обещаю тебе.

– И я обещаю.

– Куплю себе новый костюм.

– Пожалуйста, не надо. Ради меня не стоит.

– Тогда ради «Синей птицы» – это же люкс!

– Спокойной ночи!

– Люблю тебя, Сильвия. Спокойной ночи.

Оба замолчали.

– Доброй ночи, Элиот.

– Люблю тебя.

– Спокойной ночи. Мне страшно. Спокойной ночи.

Их разговор очень беспокоил Нормана Мушари. Он положил на место отводную трубку – ему все было слышно. Все его планы могли рухнуть, если бы Сильвия забеременела от Элиота. Их ребенок еще до рождения имел бы неоспоримое право на Фонд Розуотера, независимо от того, признают Элиота душевнобольным или нет. А Мушари мечтал, чтобы управление Фондом перешло к троюродному брату Элиота, Фреду Розуотеру, который проживал в Писконтьюте, в Род-Айленде. Сам Фред ни о чем не подозревал, он даже не знал, что находится в родстве с

индианапольскими Розуотерами. А Розуотеры из Индианы знали про существование Фреда лишь потому, что фирма «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги» поручили очень добросовестному специалисту по родословным и частному сыщику выяснить, кто из ближайших родственников семьи носит имя Розуотер. Досье Фреда в секретных картотеках фирмы уже стало довольно объемистым, как и сам Фред, но все сведения собирались тщательно и очень осторожно. Фреду и в голову не могло прийти, что именно ему может достаться богатство и слава Розуотеров.

Итак, на следующее утро после того, как Элиот и Сильвия договорились о встрече, Фред попрежнему чувствовал себя человеком самым заурядным, пожалуй, даже зауряднее других, потому что впереди ничего хорошего не светило. Он вышел из писконтьютской кафе-аптеки, сощурился от солнечного света, сделал три глубоких вдоха и вошел в соседнее кафе, с книжным киоском. Человек он был грузный, обрюзгший от кофе, отяжелевший от пирожков. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред – единственный во всем городе – завтракал и в том и в другом кафе.

Фред с трудом протиснул свой живот к стойке, широко улыбнулся двум сидевшим там водопроводчикам и столяру. Он вскарабкался на табурет, и под его объемистым задом подушечка сплюснулась, словно пастила.

– Кофе с пирожком, мистер Розуотер? – спросила придурковатая грязнуха за стойкой.

– Кофе с пирожком? Отлично! Честное слово, в такое утро лучше кофе с пирожком ничего не придумаешь.

Кстати, про Писконтьют. Те, кто любил городок, звали его «Пискун», а те, кто не любил, говорили «Писун». Когда-то тут жил вождь индейцев по имени Писконтьют.

Этот Писконтьют носил кожаный фартук, питался, как и все его племя, креветками, малиной и шиповником. Земледелие для вождя Писконтьюта было открытием. Кстати, таким же открытием для него стали головные уборы из перьев, лук со стрелами и вампумы. Но самым ценным открытием стали спиртные напитки. Писконтьют умер от белой горячки в 1638 году.

Четыре тысячи лун прошло, и в поселке, увековечившем имя вождя,

теперь проживали двести очень богатых семейств и около тысячи семейств обыкновенных, которые кормились тем, что так или иначе обслуживали богачей. Жизнь почти у всех была серая, скучная, не хватало в ней ни мудрости, ни радости, ни разнообразия, ни хорошего вкуса. Жили безотрадно и невесело, как и в Розуотере, штат Индиана. Не помогали ни миллионные наследства, ни наука, ни искусство.

Фред был хорошим яхтсменом и когда-то учился в Принстонском университете, поэтому его принимали в богатых домах, хотя в Писконтьюте он считался почти нищим. Жил он в унылом, неприглядном деревянном домишке, крытом порыжелой черепицей, в миле от залитого солнцем побережья.

Ради тех несчастных грошей, которые бедняга Фред приносил домой, он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Трое работяг читали малопрестойный иллюстрированный еженедельник, посвященный убийствам, сексу, всяким домашним зверушкам и детям, главным образом детям *изувеченным*. Журнал назывался «Американский следопыт» – «самый увлекательный журнал на свете». И читали его в этом кафе, тогда как в кафе при аптеке читался «Уолл-стрит джорнал».

– Набираетесь культуры, как всегда? – заметил Фред. Тон у него был приторный, приторный, как фруктовый торт.

Эти люди относились к Фреду хотя и уважительно, но с некоторой опаской. Над его страховыми операциями они слегка подсмеивались, но в глубине души понимали, что он предлагал им единственно доступный им способ быстрого обогащения: застраховать свою жизнь и поскорее умереть. И Фред втайне с горечью сознавал, что без этих людей, не попадись они на его удочку, он бы ни цента не заработал.

Вел он дела исключительно с рабочим классом. А с яхтсменами-богачами, своими соседями, он нарочно разговаривал запанибрата у всех на виду. И это был чистый блеф, но все его клиенты попроще были уверены, будто эти хитрюги-капиталисты тоже застрахованы у Фреда, что было вовсе не так. Всеми капиталами богатых заправляли банки, адвокаты и маклеры где-то очень-очень далеко отсюда.

– Что нового в высших сферах? – поинтересовался Фред. Он всегда отпускал эту шутку по адресу «*Следопыта*». В ответ столяр открыл перед Фредом журнал, где во весь разворот красовалась фотография прелестной девицы под крупной надписью. Надпись гласила:

## ИЩУ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ДАСТ МНЕ ГЕНИАЛЬНОГО РЕБЕНКА

Красотка была танцовщицей, звали ее Рэнди Геральд.

– А я бы не прочь прийти барышне на помощь, – небрежно бросил Фред.

– Мать честная! – Столяр тряхнул головой, осклабился во весь рот. – Какой дурак откажется?

– Думаете, я всерьез? – Фред свысока глянул на Рэнди Геральд. – Да я свою подружку на двадцать тысяч таких Рэнди не променяю! – Он нарочно нахмурился: – Уверен, что и вы, ребята, своих подружек тоже ни на кого не променяете. – Фред называл «подружками» всех жен, чьих мужей он надеялся застраховать.

– Я ведь ваших подружек хорошо знаю, – продолжал Фред. – Знаю, что у вас ума хватит, и ни на кого вы их не променяете. Грех забывать, ребята, какие мы счастливы. Повезло всем четверым, только и остается, что благодарить Создателя за такое счастье.

Фред помешал кофе.

– А уж я без своей жены ничего бы не добился! Верно вам говорю!

Жену его звали Каролиной. У них был сын, некрасивый толстый мальчик, унылое существо по имени Франклин Розуотер. Сама Каролина в последнее время пристрастилась к выпивке, завтракая со своей богатой подругой Аманитой Бантлайн, известной лесбиянкой.

– Конечно, я для нее все сделаю, что могу, – заявил Фред. – Но все же мало сделал, мало, клянусь Богом. Ради нее надо бы куда больше стараться. – У Фреда от волнения даже горло перехватило. Фред знал, что проявить волнение тут вполне уместно, даже надо почувствовать комок в горле, и почувствовать по-настоящему, иначе со страховками ни черта не выйдет.

– А ведь есть много такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни, – сказал Фред. – Много можно для нее сделать.

Фред умиленно закатил глаза. Сам он стоил сорок две тысячи долларов – конечно, после смерти.

Фреда часто спрашивали – не родственник ли он знаменитому сенатору Розуотеру. Фред ничего толком не зная, обычно отвечал уклончиво, примерно так:

– Кажется, какое-то дальнее родство, точно не знаю...

Как и большинство американцев с более чем скромными средствами,

Фред ничего не знал о своих предках. А знать о них можно было вот что.

Род-айлендские Розуотеры происходили от Джорджа Розуотера, младшего брата недоброй памяти Ноя. В начале Гражданской войны Джордж собрал в Индиане отряд стрелков и повел их на соединение с почти легендарной бригадой «*Черные шапки*». Под командой Джорджа воевал и один деревенский дурачок, Флетчер Луун, которого Ной послал вместо себя. В сражении при Коровьем Броде артиллерия генерала Стонуола Джексона сделала из Лууна котлету. При отступлении через болота к Александрии капитан Розуотер выбрал минутку, чтобы послать брату Ною такую записку:

*Флетчер Луун со своей стороны выполнил до конца взятые на себя обязательства. Если тебя огорчит, что вложенные в него средства израсходованы так быстро, советую тебе обратиться к генералу Поупу с просьбой хотя бы частично возместить убытки. Жаль, что тебя тут нет.*

*Джордж.*

Ной ответил ему так:

*Жаль Флетчера Лууна, но, как сказано, кажется, в Библии: «Уговор дорожке денег». Кстати, прилагаю документы и прошу их подписать. Это доверенность на управление до твоего приезда твоей половиной фермы, пило-завода и так далее. Мы тут терпим немало лишений – все идет в армию. Было бы весьма ценно получить хотя бы слово одобрения от армии. Жаль, что тебя тут нет.*

*Ной.*

Ко времени сражения при Антиэтаме Джордж уже имел звание полковника и, как ни странно, лишился мизинцев на обеих руках. В этом сражении под ним убили лошадь, он на ходу подхватил полковое знамя из рук умирающего солдата, но в руках у него осталось только расщепленное древко: снарядам конфедератов тут же сорвало знамя. Он побежал, убил древком человека, и в эту минуту один из его собственных солдат выстрелил из мушкета, в котором застрял пыж. От взрыва полковник Розуотер ослеп на всю жизнь.

Слепой Джордж вернулся в округ Розуотер в чине полного генерала. Все удивлялись, почему он такой веселый. И его жизнерадостность ни на йоту не померкла, когда банкиры и адвокаты, любезно предложившие стать

его глазами, объяснили, что у него никакого имущества нигде не осталось, что он все отписал брату Ною. Самого Ноя, к сожалению, в городе не было, и объяснить Джорджу, как это случилось, он лично не мог. Дела требовали его присутствия и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии.

– Ну что ж, – сказал Джордж, улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь без конца, – в Библии ведь очень определенно сказано: «Уговор дороже денег».

Адвокатам и банкирам стало как-то обидно – неужели Джордж не извлек для себя никакого урока, ведь для любого другого человека такие события стали бы важной вехой в жизни. Один из адвокатов, который с удовольствием предвкушал тот момент, когда он укажет Джорджу на его ошибку, когда тот начнет рвать на себе волосы, не удержался и указал ему на ошибку, хотя тот смеялся.

– Всегда надо сначала *прочитать то*, что подписываешь, – наставительно сказал он.

– Будьте благонадежны! – сказал Джордж. – Уж теперь-то непременно так и стану делать.

Все-таки Джордж, очевидно, вернулся с войны не совсем нормальным человеком. Разве нормальный человек, потерявший зрение и все свое законное имущество, смеялся бы так часто, так весело? Любой нормальный человек, да еще герой войны и полный генерал, наверное, предпринял бы самые решительные меры, чтобы по закону заставить брата вернуть его состояние. Но Джордж подавать в суд не стал.

И дожидаться возвращения Ноя в Розуотер он тоже не стал, и на Восток искать брата не поехал. И вообще они больше никогда не виделись и никак друг с другом не общались. Джордж, в полной генеральской форме, при всех орденах, обходил те семьи, откуда в его отряд пришел сын, а иногда и несколько сыновей, хвалил их за храбрость, горько жалел тех, кто был ранен или не вернулся домой.

А в это время в городе строился дворец для Ноя. И однажды утром рабочие увидели, что к парадной двери гвоздями прибита генеральская форма, как распяливают для просушки шкуры убитых зверей.

Так Джордж навеки исчез из округа Розуотер.

Джордж бродягой пробирался на Восток, но вовсе не в поисках брата, он не собирался его убивать, а в поисках работы в городе Провиденс, в Род-Айленде. Он прослышал, что там открылась мастерская, изготавливавшая щетки. Работать в этой мастерской должны были слепые ветераны Гражданской войны.

Слухи подтвердились. Щеточную мастерскую открыл некий Кастор

Бантлайн, который, кстати, сам не был ни слепым, ни ветераном войны, но он правильно рассчитал, что слепые ветераны будут очень покладистыми, что сам он войдет в историю как благодетель и гуманист, что все патриоты Северных штатов еще долгие годы после окончания войны будут покупать только щетки Бантлайна марки «Северный Маяк». Так создался капитал Бантлайнов. Заработав на щеточном производстве, Кастор Бантлайн и его припадочный сын Элай поехали «мешочничать» в южные штаты и стали табачными королями.

Хотя генерал Джордж Розуотер и стер ноги в кровь, но продолжал улыбаться, придя в щеточную мастерскую. Кастор Бантлайн навел справки в Вашингтоне и, удостоверившись, что Джордж действительно генерал, взял его в мастерскую старшим мастером, назначил ему высокий оклад и назвал в его честь один из сортов щеток «Генерал Розуотер». На время это фирменное название так вошло в привычку, что все такие щетки стали называть «генералами».

К слепому Джорджу приставили четырнадцатилетнюю девочку-сиротку по имени Фэйс Мэррихью. Она стала его поводырем и «порученцем». Когда ей исполнилось шестнадцать лет, Джордж взял ее в жены.

И Джордж родил Эбрахама, ставшего священником-конгрегационалистом. Эбрахам уехал в Конго миссионером, женился на дочери другого миссионера-баптиста, по имени Лавиния Уотерс. Там, в джунглях, Эбрахам родил сына Мэррихью. Лавиния умерла родами, маленького Мэррихью вскормила негритянка из племени банту.

И вот Эбрахам с маленьким Мэррихью вернулся в Род-Айленд. Эбрахам занял место проповедника конгрегационалистской церкви в маленьком рыбацьем поселке Писконтьюте. Он купил домишко и при нем – сто десять акров песчаной земли, поросшей жидким леском. Участок шел треугольником. По гипотенузе тянулась береговая полоса Писконтьютской гавани.

Сын священника, Мэррихью Розуотер, стал торговать земельными участками, нарезанными из отцовской земли. Женился он на Синтии Найльз Рэмфорд и взял за ней небольшое приданое. Капитал жены он вложил в строительство, проложил мостовые, поставил уличные фонари, провел канализацию. Он нажил на продаже участков порядочное состояние, но потерял во время депрессии 1929 года и свои, и женины деньги; и он пустил себе пулю в лоб.

Но до этого он успел написать историю своей семьи и родить беднягу Фреда, страхового агента.

Сыновья самоубийц почти всегда неудачники.

Характерно, что именно им не хватает в жизни какой-то *изюминки*. Даже в стране, где большинство людей оторвано от своих корней, они больше других оторваны от своих предков. Они брезгливо отмахиваются от прошлого и с тупой покорностью предвидят свою мрачную участь, считая, что им тоже суждено покончить с собой.

Все признаки такого невроза были налицо и у Фреда. Вдобавок он страдал постоянным тиком, часто впадал в апатию, все ему становилось противно. Он слышал, как отец выстрелил в себя, видел его разлетевшийся вдребезги череп и лежавшую у него на коленях летопись их семьи.

Эту рукопись Фред подобрал, но ни разу в нее не заглянул – читать историю их семьи ему было неинтересно. Он положил рукопись на стоявший в подвале его дома буфет, где хранились банки с вареньем. Кстати, на том же буфете стояли жестянки с крысиным ядом.

\* \* \*

А сейчас бедняга Фред все сидел и сидел в кафе при книжном киоске и все бубнил и бубнил двум водопроводчикам и столяру про их подруг жизни.

– *Мы-то* с тобой, Нед, сделали все, что могли, для наших подружек.

И действительно, столяр, благодаря стараниям Фреда, стоил двадцать тысяч долларов – конечно, после смерти. Вот почему каждый раз, как ему приходилось платить очередной страховой взнос, столяра неотвязно преследовала мысль о самоубийстве.

– Нам теперь и думать не надо, как бы хоть немножко подкопить, – сказал Фред. – Все без нас делается, само собой, *автоматически*.

– Угу, – сказал Нед.

Молчание набухало, как бревно в воде. Двое незастрахованных водопроводчиков, еще минуту назад такие веселые скабрезники, сейчас совсем сникли.

– Мы с вами одним росчерком пера уже скопили порядочную сумму, – напомнил Фред столяру. – Вот какое чудо – страховка. Такую малость каждый из нас обязан сделать для своей подруги жизни.

Водопроводчики нехотя сползли с табуреток. Но Фред не огорчился. Пусть себе уходят. Куда бы они ни пошли, их везде будут преследовать



угрызения совести, да и в это кафе они зайдут еще не раз.

А тут их всегда будет поджидать Фред.

– Знаете, какое самое большое удовлетворение дает мне моя профессия? – спросил Фред у столяра.

– Не-е.

– Всегда радуюсь, когда ко мне подойдет чья-то подружка и скажет: «Не знаю, как моим детям и мне отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер!»

Столяр тоже бросил Фреда Розуотера, оставив на столе номер «Американского следопыта». Фред разыграл целую пантомиму, чтобы все случайные посетители видели, как ему скучно, и читать совершенно нечего, и спать охота, может быть, даже с похмелья, и что он машинально будет глазеть на любую печатную страницу, даже не замечая, что это за чтение.

– У-у-о-оо-хо-хо! – сладко зевнул он, потянулся, широко разводя руки и как бы нечаянно захватывая журналчик.

В лавке в это время никого, кроме девицы за стойкой, не было.

– Не понимаю, – сказал ей Фред. – Ну какой идиот станет читать эти гадости?

Девушка могла бы честно ответить, что он-то сам каждую неделю читает эти гадости от корки до корки. Но так как эта грязнуха была полной идиоткой и ничего не поняла, она сказала:

– Ничего не знаю, ничего не трогаю – хоть общитесь! – Предложение звучало не слишком соблазнительно.

\* \* \*

Фред, подозрительно посапывая, развернул страницу под заголовком «Я ВАС ЖДУ!». Мужчины и женщины откровенно заявляли, как им нужна любовь, или брак, или всякие другие штучки. Стоило такое объявление один доллар сорок пять центов.

«Привлекательная, веселая особа 40 лет, служащая, с высшим образованием, еврейка, проживающая в Коннектикуте, – говорилось в одном из них, – ищет встречи с серьезным мужчиной иудейского вероисповедания, с высшим образованием. Цель – брак. Детей примет с восторгом». Очень мило, ничего не скажешь. Но дальше шли далеко не столь симпатичные заявки.

«Мужской парикмахер, Сент-Луис, ищет пикантных мужчин для совместных развлечений, фотографии присылать “о-натюрель”», – гласила следующая.

«Супруги, приезжие (г. Даллас), ищут знакомства с супружескими парами без предрассудков, интересующимися откровенным

фотоискусством. Ответы на искренние предложения гарантированы. Фото возвращаются по требованию».

Было и такое:

«Преподаватель начальной школы остро нуждается в строгой инструкторше, обучающей хорошим манерам, предпочитает любительниц конного спорта, германских или скандинавских кровей, – объявлял некий педагог. – Согласен в отъезд, в пределах США».

«Гос. чин. Нью-Йорк желает встреч любой день кр. воскр. Скром. не предлаг.».

Тут же прилагался купон – читатель мог занести сюда свои пожелания. Фреду тоже смутно захотелось дать объявление.

Затем он прочитал подробное описание изнасилования с убийством: произошло это дело в Небраске в 1938 году. Очерк был иллюстрирован непристойно – натуралистическими фотографиями, какие полагается видеть только судебному следователю. Прошло уже тридцать лет после этого преступления, но сейчас о нем читал не только Фред, а еще десять миллионов читателей этого журнальчика, темы не устаревали, вечные темы. В любое время можно было сообщить под кричащими заголовками о Лукреции Борджиа. Кстати, именно из «*Следопыта*» Фред, проучившийся лишь год в Принстонском университете, узнал о смерти Сократа.

В дверях показалась высокая, голенастая, похожая на лошадку девочка, тринадцатилетняя Лайла Бантлайн, дочь закадычной подруги жены Фреда, и он сразу отбросил журнал. Кожа у девочки обветрилась, загорела, лупилась от солнечных ожогов, все лицо было покрыто веснушками и пятнами свежей розовой кожицы. Темные круги лежали под ее очень красивыми зелеными глазами. Лайла была одной из самых лучших, самых опытных яхтсменок писконтыютского яхт-клуба.

Девочка с жалостью взглянула на Фреда – и оттого, что он такой бедный, и оттого, что жена у него такая дрянь. А сам он – такой толстый и скучный до одури. Лайла прошла к вертящейся стойке под названием «Лентяйка Сюзан», где были выставлены новые газеты и книжки, и скрылась, усевшись на холодный цементированный пол.

Фред снова потянулся за журналом, прочитал несколько объявлений, где предлагалась всякая похабщина. Он часто задышал. Бедняга Фред относился к «*Следопыту*» и ко всему, что там писалось, как школьник младших классов, но впустить это все в свою жизнь, затеять переписку по указанным адресам, он не решался. И оттого, что он был сыном самоубийцы, нечего и удивляться, что тайные желания только смутно копошились в глубине его души.

Вдруг в кафе ввалился огромный детина и так быстро очутился около Фреда, что тот не успел спрятать журнальчик.

– Ух ты, страховщик несчастный, ишь над чем слюни пускает, похабник ты этакий, так твою растак!

Звали этого здоровяка Гарри Пина, был он по профессии рыбаком, а кроме того, начальником добровольной пожарной дружины Писконтьюта. Гарри был владельцем двух рыбных затонов, на мелководье, у самого берега – настоящие лабиринты из шестов и сетей, где рыба, заплывавшая туда, платилась за свою глупость, на что и рассчитывал Гарри. Одной стороной затон упирался в берег, а другой – соединялся с круглой ловушкой из кольев и свисавших с них сетей, опущенных на самое дно. Рыбы, плавая у берега, обходили затон, попадали в горловину, тупо кружили меж кольев и сетей по затону, ища выхода, – и тут подходил на лодке Гарри с двумя рослыми сыновьями, выбирал постепенно сеть, лежавшую на самом дне, и безжалостно бил, бил и бил глупых рыб молотками и острогами.

Хоть Гарри был и немолод и кривоног, но плечи и голова у него были такие мощные, что сам Микеланджело мог бы лепить с него Моисея, а то и самого Создателя вселенной. Раньше Гарри не занимался рыбачьим промыслом – он был таким же «несчастливым страховщиком», как и Фред, жил в Питсфилде, штат Массачусетс. Но однажды, чистя ковер у себя дома *четырёххлористым углеродом*, он чуть не отравился насмерть, надыхавшись ядовитых испарений.

Когда он выздоровел, его врач сказал:

– Гарри, ищите работу на свежем воздухе, иначе вы умрете.

И Гарри пошел по стопам своего отца – стал рыбаком.

Гарри обнял пухлые плечи Фреда. Он мог себе позволить такие проявления дружбы: во всем Писконтьюте он считался настоящим образцом нормального мужчины, без всяких экивоков.

– Эх ты, страховщик распроезтакий, горемыка несчастный! Ну зачем тебе надрываться? Занялся бы лучше каким-нибудь настоящим, хорошим делом!

– Как тебе сказать, Гарри. – Фред глубокомысленно выпятил губу. – Быть может, мои установки, мое отношение к страховому делу расходятся с твоими.

– Чепуховина! – сказал Гарри. Он выхватил журнал у Фреда, прочитал просьбу красотки Рэнди Геральд на первой странице. – Будь я неладен, – сказал он, – уж какого-никакого ребеночка я бы ей сделал, и время сам бы

назначил, а ее и спрашивать не стал!

– Нет, Гарри, серьезно говорю, – настаивал Фред. – Я *люблю* страховое дело. Люблю *помогать* людям.

Гарри что-то буркнул – слышу, мол. Он, насупившись, разглядывал фото юной француженки в купальном костюме.

Фред понимал, что для Гарри он – существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок как мужчина мужчину:

– Нравится, Гарри, а?

– Что именно?

– Эта девочка!

– Это не девочка. Это кусок бумаги.

– А *по-моему*, девочка. – И Фред Розуотер хитро улыбнулся.

– Легко же тебя облапошить, – сказал Гарри. – Да разве тут, перед нами, лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас, ей даже невдомек, что мы есть на свете. Если эту бумажку считать настоящей девочкой, так мне бы только и дел было бы сидеть дома и вырезать из журналов картинки да фото про всяких рыб, да покрупнее.

Гарри Пина стал просматривать объявления в отделе «Я вас жду!» и попросил у Фреда ручку.

– Ручку? – переспросил Фред, словно впервые слышал это слово.

– Ручка у тебя *есть* или нет?

– Конечно, есть, как же. – Фред торопливо подал ему одну из девяти ручек, растыканных у него по всем карманам.

– Да, ручек у него хватает, – засмеялся Гарри и написал на пустом бланке следующее объявление:

«Папашка с перчиком белой расы ищет мамаш-ку с перчиком любой расы, любого возраста, любой религии. Цель – все, что угодно, кроме брака. Обменяюсь фото. Зубы у меня свои».

– Неужели и вправду пошлешь? – спросил Фред. Видно было, что его самого так и подмывает послать объявление, получить парочку-другую похабных фото.

Гарри подписался: «Фред Розуотер. Писконтыют. Род-Айленд».

– Очень остроумно, – ледяным голосом сказал Фред, отодвигаясь от Гарри с видом оскорбленного достоинства.

– Для нашего Писконтыюта очень даже остроумно, – сказал Гарри и подмигнул.

Тут в кафе вошла жена Фреда Каролина. Это была миловидная,

худенькая женщина с напряженным, растерянным выражением лица, всегда разодетая, как куколка, в нарядные платья, подаренные ей ее богатой приятельницей Аманитой Бантлайн. Каролина Розуотер вся сверкала и переливалась от дешевых украшений. Надевала она их для того, чтобы платье с чужого плеча казалось сшитым на ее вкус. Она собиралась идти завтракать с Амани-той и хотела взять немного денег у Фреда, чтобы с чистой совестью сделать вид, что хочет сама за себя заплатить.

Разговаривая с Фредом и чувствуя на себе пристальный взгляд Гарри, она держала себя как женщина, которая старается сохранить достоинство, упав на четвереньки. Она жалела себя за то, что вышла замуж за такого скучного, такого бедного человека, причем Аманита жадно раздувала в ней это чувство. То, что она сама была такая бедная и такая же скучная, как Фред, она органически понять не могла. Во-первых, она была членом элитного студенческого клуба, куда ее выбрали, когда она училась на философском факультете Диллонского университета, в Додж-Сити, штат Канзас. В этом самом Додж-Сити, в одном из военных клубов, она и встретила Фреда, который во время корейской войны служил в форте Рейли. Вышла она замуж за Фреда, потому что была уверена, что каждый, кто живет в Писконтьюте и учится в Принстонском университете, – богатый человек. Для нее было большим унижением – увидеть, что это вовсе не так. Она искренне считала себя интеллигенткой, но знания у нее были ничтожные, а те затруднения, которые вставали перед ней, можно было преодолеть только деньгами, и деньгами очень большими. Хозяйка она была прескверная. Она всегда плакала за домашней работой, так как была уверена, что заслуживает лучшей доли.

Кстати, в ее отношениях с Аманитой ничего особенно порочного с ее стороны не было. Она просто была хамелеоном, притворщицей, которая старалась приспособиться к жизни.

- Опять завтракать с Аманитой? – сказал Фред.
- Ну и что?
- Дорогое удовольствие – каждый день эти чертовы завтраки.
- Не каждый день, а от силы два раза в неделю. – Голос у нее был колючий, ледяной.
- Все равно, денег уходит уйма.
- Каролина протянула к деньгам ручку в белой перчатке:
- Для жены денег не жалеют!
- И Фред дал ей деньги.
- Каролина даже не сказала «спасибо». Она вышла и села рядом с

надушенной Аманитой на обтянутые золотистой лайкой подушки ее голубого «мерседеса».

Гарри Пина взглянул на бледное как мел лицо Фреда, но ничего не сказал. Он закурил сигару, вышел и отправился ловить настоящих рыб с настоящими своими сыновьями, в настоящей лодке, в настоящем соленом море.

\* \* \*

Лайла, дочь Аманиты Бантлайн, сидела прямо на полу за вертушкой с книгами, просматривая «*Тропик Рака*» Генри Миллера и «*Голый завтрак*» Бэрроуза, снятые со специальной полки.

Тринадцатилетняя Лайла интересовалась этими произведениями с чисто коммерческой точки зрения. Во всем Писконтьютте она была главной поставщицей порнолитературы.

Она и фейерверками занималась с той же целью, что и порнографической литературой, то есть ради денег. Ее дружки по Писконтьюттскому яхт-клубу и средней школе были так богаты и так глупы, что готовы были платить ей сколько угодно за что угодно. В удачный денек она могла загнать семидесятицентовое издание «*Любовника леди Чаттерлей*» за два доллара, а пятнадцатичентовую «римскую свечу» за пятерку.

Она скупала фейерверки во время каникул, когда всей семьей ездили то в Канаду, то во Флориду, а то и в Гонконг. Почти все порноиздания она просто брала с выставки в местной книжной лавке. Фокус был в том, что Лайла отлично знала, какие названия сулят похабщину, какие – нет, а это было невдомек и ее школьным товарищам, и даже продавцам в книжной лавке. И Лайла молниеносно скупала все книги с заманчивыми названиями, как только они появлялись на вертящейся полке. Все ее сделки шли через придурковатую девицу за стойкой, которая сразу все забывала начисто.

То, что Лайла орудовала именно в этой лавочке, было особенно символично, потому что в окне лавки красовался огромный позолоченный медальон из пластика, на котором было написано «*Союз род-айлендских матерей по спасению детей от всякой скверны*». Представительницы этого общества регулярно проверяли литературу в лавке в поисках нецензурных произведений, и выставленный в окне медальон указывал на то, что в этой лавке все чисто. И никакой порнографии они тут не нашли.

Они были уверены, что их детки «спасены от всякой скверны», но на

самом деле всю порнолитературу заранее скупала Лайла.

Только один товар в этой лавочке Лайле купить не удавалось, а именно – неприличные фотографии. Но их она доставала, отвечая на похабные объявления в номерах «*Следопыта*», на которые бедняга Фред Розуотер только облизывался каждую неделю.

В детский мир Лайлы, сидевшей на полу, у книжной полки, вдруг вторглись огромные ноги Фреда Розуотера. Но Лайла не стала прятать свое рискованное чтиво и продолжала читать «*Тропик Рака*», как будто это был «*Робинзон Крузо*».

«Чемодан открыт, вещи валяются на полу... Она юркнула в постель не раздеваясь... Раз, другой, третий, четвертый... Боюсь, что она сойдет с ума... Как сладко чувствовать ее опять... Но надолго ли? Предчувствие меня томит – нет, ненадолго...»

Лайла и Фред уже не раз встречались у книжной полки. Он никогда не спрашивал, что она читает. И она предвидела, что именно он сейчас сделает, – посмотрит грустными голодными глазами на яркие обложки с соблазнительными девицами и возьмет пухлый ежемесячник вроде «*Садоводство и домоводство*». Так он сделал и сейчас.

– Кажется, моя жена опять поехала завтракать с твоей мамочкой, – сказал Фред.

– Кажется, да, – сказала Лайла. На этом их разговор окончился, но Лайла продолжала думать о Фреде. Над ней возвышались толстые розуотеровские икры. Когда Фред в яхт-клубе или на пляже попадался ей на глаза в шортах или купальном костюме, его икры всегда были покрыты шрамами и синяками, будто его постоянно кто-то бил, бил – и били ногами. Лайла подумала: может, Фреду не хватает витаминов или у него чесотка, оттого и на икрах у него такая кожа.

На самом же деле кровавые синяки у Фреда появлялись из-за не совсем обычной расстановки мебели в их квартире, почти шизофренического пристрастия его жены к маленьким столикам – десятки этих столиков были расставлены по всему дому. На каждом столике красовалась пепельница и вазочка с пыльными мятными конфетками – послеобеденное угощение для гостей, которых Розуотеры никогда не принимали. И Каролина вечно переставляла столики – то для одного воображаемого приема, то для другого. И бедный Фред вечно стучался об эти столики, набивая себе синяки.



Один раз Фред так глубоко рассек подбородок, что пришлось наложить одиннадцать швов. Но порезался он в данном случае не о столик. Он порезался о некий предмет, который Каролина никогда не убирала на место. Предмет этот вечно попадался на дороге, как ручной муравьед, который любит спать именно на пороге двери, или на лестнице, или у самого камина. Предмет, о который споткнулся Фред и, упав, рассек себе подбородок, был пылесос Каролины «Электролюкс». Каролина, как видно, подсознательно дала себе клятву – не убирать пылесос, пока не разбогатеет.

Подумав, что Лайла не обращает на него никакого внимания, Фред отложил журнал «Садоводство и домоводство» и снял с полки книжонку в немыслимо соблазнительной обложке под заманчивым названием «*Венера в раковине*» Килгора Траута. На оборотной стороне обложки красовалось сокращенное изложение эпизода, где бушевали накаленные добела страсти. Вот что там было написано:

«Королева Маргарет, владычица планеты Шелтун, уронила с плеч пышное одеяние. Под ним ничего не было. Высокая гордая грудь расцвела как розан. Талия и бедра призывно сверкали, как лира из чистейшего мрамора. От них исходило такое сияние, словно внутри теплился мягкий свет.

– Окончен твой путь, о Космический Странник, – прошептала она, и ее грудной голос дрогнул в страстной мольбе. – Не ищи ответа на проклятые вопросы – ответ в моих объятиях.

– О королева, – проговорил Космический Странник, – этот ответ полон соблазна, спору нет. – Капли пота увлажнили ладони Странника. – Я приму его с благоговением. Но я хочу быть честным с вами и потому скажу откровенно: завтра я должен снова пуститься в путь, в поиски...

– Но ведь ты уже нашел ответ, ты нашел его! – воскликнула она и с силой прижала его голову к своей пышной душистой груди.

Он что-то сказал, но она не разобрала слов. Она отклонила его голову, не выпуская ее из рук.

– Что ты сказал?

– Я сказал: ответ ваш прекрасен, спору нет, но увы! Это совершенно не тот ответ, который я так упорно ищу!»

На обложке была и фотография Траута – пожилого человека с окладистой черной бородой. У него был вид испуганного, уже немолодого Христа, которому казнь на кресте заменили пожизненным заключением.

Лайла Бантлайн неторопливо проезжала на велосипеде по уже притихшим улицам почти нереально красивого района Писконтьюта. Каждый особняк, мимо которого она проезжала, походил на сон, ставший явью, и стоил уйму денег. Владельцам особняков работать никогда не приходилось, и детям их работать не придется, они и так ни в чем нуждаться не станут, если только против них не поднимут бунт. Впрочем, никто бунтовать не собирался.

Прелестный особняк Лайлы в георгианском стиле стоял на самой набережной. Войдя в парадное, она оставила свои новые книжки в холле и потихоньку пробралась в кабинет отца, вечно лежащего на диване, взглянуть – жив он или нет. Она непременно каждый день заходила к нему.

– Отец?

Утренняя почта лежала на серебряном подносыке на столике у изголовья. Рядом стоял стакан виски с содовой. Пузырьки уже не поднимались со дна. Стюарту Бантлайну еще не было сорока. Он был самым красивым мужчиной в городе, кто-то назвал его «помесью Гэри Гранта<sup>[8]</sup> с фарфоровым пастушком». На его плоском животе лежал тяжелый том – железнодорожный атлас времен Гражданской войны, подарок жены, стоивший пятьдесят семь долларов. Гражданская война была единственным его интересом в жизни.

– Папа...

Но Стюарт не пошевелинулся. Отец оставил ему в наследство четырнадцать миллионов, нажитых главным образом на табаке. И капитал этот расцветал, рос, скрещивался с другими капиталами, его удобряли и подкармливали в теплицах банков Бостона на их гидропонических денежных фермах, ведавших основными капиталами. И капитал давал побеги – восемьсот тысяч долларов в год, с того дня, как его положили в банк на имя Стюарта. Дела шли отлично. Больше ничего Стюарт об этих делах не знал. Иногда у Стюарта пытались получить деловой совет, и он, как правило, решительно заявлял, что предпочитает всем акциям «Поляроид». Собеседники обычно находили такой ответ весьма толковым, хотя на самом деле Стюарт понятия не имел, есть у него акции «Поляроида» или нет. Дела за него вел банк и адвокатская контора «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги».

– Папа...

– М-mmm?..  
– Пришла посмотреть, как... как ты? Все в порядке? – сказала Лайла.  
– Угу... – промычал он неуверенно, приоткрыл глаза, облизал губы. –  
Все хорошо, детка.  
– Ну и спи спокойно.  
И он заснул.

Он и вправду мог спать спокойно, так как его дела велись той же конторой, что и дела сенатора Розуотера, и велись с тех самых пор, как он осиротел в шестнадцать лет. Занимался его делами сам Мак-Алистер. В последнее письмо с отчетом старый Мак-Алистер вложил некое литературное произведение под названием «Идейный раскол в лагере друзей-единомышленников». Книга вышла в издательстве «Сосны» при Свободной школе, в Колорадо-Спрингс, п/я 165, штат Колорадо. Сейчас брошюра служила закладкой в железнодорожном атласе. Старый Мак-Алистер постоянно посылал Стюарту литературу, где козни социалистов противопоставлялись идеям свободного предпринимательства, так как лет двадцать тому назад к нему в контору ворвался юный Стюарт и, сверкая глазами, заявил, что капиталистическая система никуда не годится и что он сам намерен раздать все свои деньги беднякам. Тогда Мак-Алистеру удалось отговорить порывистого юнца от его намерений, но старик до сих пор беспокоился – как бы у Стюарта не наступил рецидив. Вот он и посылал брошюры с профилактической целью.

Однако Мак-Алистер зря беспокоился. И в пьяном состоянии, и в трезвом, с брошюрками или без них Стюарт был безоговорочно предан свободному предпринимательству. Ему не нужны были такие брошюры, как «Идейный раскол в лагере друзей», написанная, очевидно, неким консерватором в виде письма к воображаемым друзьям, которые, незаметно для себя, стали социалистами. И оттого, что Стюарту это было ни к чему, он даже не прочитал, что автор писал о тех паразитах, которые пользуются помощью всех благотворительных организаций и получают социальное обеспечение в разных видах. А говорилось о них вот что:

«Принесла ли наша помощь пользу этим людям? Присмотритесь к ним внимательно. Возьмем типичного представителя тех, кого мы своими руками создали, пожалев их. Что мы теперь можем сказать третьему поколению людей, которые уже давно привыкли жить за счет нашей благотворительности? Исследуйте внимательно, что мы с ними сделали, взгляните, кого мы породили, кого и сейчас порождаем, – их миллионы,

даже во времена всеобщего благоденствия.

Эти люди не работают и работать не желают. Они бездумно опустили руки, в них нет человеческого достоинства, нет самоуважения. На них ни в чем нельзя положиться, и не потому, что они злы, но просто оттого, что они, как стадо, бесцельно бродят по земле. От долгого бездействия у них атрофировалась способность мыслить, способность глядеть вперед. Поговорите с ними, послушайте их, поработайте над ними, как работаю я, и вы с ужасом поймете, что они потеряли всякий образ человеческий, хотя и стоят на двух ногах и, как попугаи, повторяют: «Еще. Подайте мне. Мне мало, мне не хватает...» – других мыслей у них нет, больше они ничему не научились.

И в эти дни они высятся перед нашим взором, как грандиозная карикатура на Гомо сапиенс, суровый и страшный образ той действительности, которую мы сами создали ложным своим состраданием. Вот они – живое пророчество того, какими очень многие из наших ближних еще могут стать, если мы будем идти тем же курсом».

И так далее...

Впрочем, Стюарту все эти рассуждения были нужны как собаке пятая нога. Он давным-давно покончил с ложным состраданием, покончил и с вопросами секса, да и Гражданская война, честно говоря, ему давно осточертела.

Двадцать лет назад у Стюарта с Мак-Алистером состоялся тот самый разговор, который повернул Стюарта на путь консерватизма.

– Значит, вы хотите стать святым, молодой человек?

– Я не то говорил, надеюсь, вы поймете меня правильно. Скажите, мое наследство находится в вашем ведении? И эти деньги не я сам заработал?

– Отвечаю на первый вопрос: да, в нашем ведении находится капитал, который вы унаследовали. В ответ на второй вопрос скажу так: если вы пока что ничего не заработали, вы впредь будете зарабатывать, непременно будете. Вы принадлежите к семье, которая создана для того, чтобы к ней текли деньги, и все, что ей требуется, и даже больше. Вы получите неограниченную власть, мой мальчик, потому что вы рождены для власти, но, конечно, и власть может стать настоящим адом.

– Все может случиться, мистер Мак-Алистер. Поживем – увидим. Но вот о чем я вам хочу сказать. На свете столько несчастных людей, а деньгами можно облегчить их страдания, а у меня этих денег больше, чем мне нужно. Вот я и хочу помочь этим беднякам – накормить их как следует, одеть, поселить в хорошие дома – и не откладывать это дело.

– А как же вас прикажете называть после таких благодеяний? Святым Стюартом или же Пресвятым Бантлайном?

– Я к вам не для того пришел, чтобы вы надо мной издевались.

– А ваш отец не для того назначил нас поверенными в ваших делах, чтобы мы вежливенько соглашались со всем, что вы тут наговорите. И если я, по-вашему, говорю с вами невежливо и бесцеремонно насчет того, не причислить ли вас к лику святых, то лишь потому, что мне столько раз приходилось вести с такими же юнцами те же глупые разговоры. Главная задача нашей конторы – предупреждать всякие проявления святости у наших клиентов. Думаете, вы исключение? Нет, таких много. По крайней мере раз в год к нам является один из тех, чьим капиталом мы ведаем, и заявляет, что хочет раздать свои деньги беднякам. Обычно он только что окончил первый курс какого-нибудь прославленного университета. Год был для него знаменательный. Тут он впервые услышал о невероятных страданиях во всем мире. Услыхал он и о том, какими преступлениями создавались богатства многих семейств. Впервые его, верующего христианина, по-настоящему ткнули носом в Нагорную проповедь. Он сбит с толку, он чуть не плачет, он сердится. Замогильным голосом он вопрошает: как велик его наследственный капитал? Мы ему сообщаем. Он бледнеет от стыда, даже если его богатство добыто самым честным и невинным путем – например, выработкой и продажей прочной прозодежды для рабочих или, как в вашей семье, выделкой щеток. Если не ошибаюсь, вы только что проучились год в Гарварде? Великолепный университет, но, когда я вижу, какое влияние он оказывает на некоторых молодых людей, я себя спрашиваю: как они смеют учить состраданию и не касаться исторических фактов? А история учит нас одному, дорогой мой мистер Бантлайн, и только одному: раздавать деньги и вредно, и бессмысленно. Бедняки становятся нытиками, оттого что им всего мало, а те, кто раздает деньги, сами становятся неотличимы от этих полунищих нытиков.

– Большое состояние, которое вы унаследовали, – это чудо, редкое чудо, – говорил в тот далекий день старый Мак-Алистер молодому Бантлайну. – Вы получили его, не затратив никаких трудов, потому и не понимаете, что это такое. И чтобы помочь вам понять, какое это чудо, я вам скажу то, что, может быть, и покажется вам обидным. Ваш капитал – единственный и самый важный фактор, определяющий то, что вы собою представляете, что о вас думают другие. Благодаря этим деньгам вы – человек необычный. А без них, например, вы не могли бы, как сейчас, отнимать драгоценное время у старшего партнера адвокатской конторы «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги».

Если вы раздадите свой капитал, вы станете самым обыкновенным из обыкновенных людей – если только вы не гений.

Вы ведь не гений, мистер Бантлайн, не так ли?

– Нет.

– Гм... Впрочем, будь вы даже гением, без денег у вас не будет ни такой свободы, ни таких жизненных благ. Более того, вы обрекаете и своих потомков на унылую, полную терзаний жизнь, их вечно будет грызть мысль, что они могли бы жить богато, свободно, если бы их глупый предок не разбазарил бы весь капитал.

Не выпускайте ваше богатство из рук, мистер Бантлайн. Деньги – это концентрат Утопии. Почти у всех людей жизнь собачья, как вам старательно внушали ваши профессора. Но и вас, и вашу семью благодаря вашим деньгам ждет райская жизнь. И я хочу видеть, как вы улыбнетесь, когда наконец поймете то, чему не учат в вашем Гарварде, – поймете, что родиться богатым и остаться богатым – совсем не такое страшное преступление.

Лайла, дочь Стюарта, поднялась к себе в комнату. Мать сама выбрала цветовую гамму – розовую с белоснежным. Широкие окна выходили на залив, на пристань яхт-клуба, где белели паруса яхт. Рыбачья лодка «Мария», сорокафутовая неуклюжая посудина, плюясь дымом, пробиралась между яхтами, подымая волну вокруг этих игрушечных суденышек. И назывались эти игрушки по-разному: «Рыжий пес», «Бутон-2», «Бантик», «За мной!», «Призрак» и так далее. «Бутон-2» принадлежал Фреду Розуотеру, «Бантик» – чете Бантлайн. Хозяином «Марии» был Гарри Пина, владелец рыбных затонов. Старая серая посудина во всякую погоду ковыляла по волнам, неся на борту тонны свежей рыбы.

На палубе не было никаких надстроек, кроме деревянного ящика, служившего укрытием новехонькому мотору «крайслер». На ящике находился стояк штурвала, подача газа и глушитель мотора. Кроме этого ящика и голых ребер шпангоутов, ничего на этой посудине видно не было.

Гарри вел мотобот к рыбным садкам. Оба его великовозрастных сына, Мэнни и Кенни, растянулись рядышком на палубе, вполголоса рассказывая друг дружке всякую похабщину. У каждого под боком лежала острога в шесть футов длиной, Гарри был вооружен шестифунтовым молотом. На всех троих были резиновые фартуки и сапоги. Когда они глушили рыбу, все бывало залито кровью.

– Хватит вам трепаться про баб, – сказал Гарри. – Про рыбу надо думать.

– Будем, будем, старина, когда до твоих годков доживем! – весело откликнулись парни.

Над аэропортом близ Провиденса низко кружил самолет, готовясь к посадке. В самолете, читая «Совесть консерватора», летел Норман Мушари.

Самая большая в мире частная коллекция гарпунов была выставлена в ресторане «Затон», в пяти милях от Писконтьюта. Хозяином ресторана был гомосексуалист, рослый человек родом из Бедфорда, которого звали Зайка Викс. До тех пор пока Зайка Викс не приехал из Бедфорда и не открыл ресторан, Писконтьют решительно никакого отношения к китобойному промыслу не имел.

А назвал Зайка свой ресторан «Затоном» потому, что окна выходили на затон, где Гарри Пина глушил рыбу. На каждом столике в ресторане лежали бинокли, чтобы посетители могли смотреть, как Гарри со своими сынками бьют рыбу. И пока рыбаки трудились, как говорится, у самого синего моря, Зайка, переходя от столика к столику, со вкусом, как заядлый рыболов, объяснял, что именно они делают и зачем. Подходя, он бесцеремонно лапал девиц, но никогда не прикасался ни к одному мужчине.

Если же клиенты хотели тесней соприкоснуться с рыбачьим промыслом, они могли заказать коктейль «Летучая рыба» из рома, гренадина и клюквенного сока или салат «Рыбацкий», состоящий из очищенного банана, торчащего из ломтика ананаса, который лежал в гнезде из пышно взбитого рыбного пюре, украшенного кудрявыми стружками кокосового ореха.

И Гарри Пина, и его сынки отлично знали про салат, и про коктейль, и про бинокли, хотя сами никогда в «Затон» не заходили. Иногда они поддерживали свою невольную связь с жизнью ресторана тем, что мочились с борта лодки на виду у посетителей. Называлось это у них «подсолить уху для Зайки Вика».

Коллекцию гарпунов Зайка Викс прикрепил к некрашеным стропилам сувенирного зала, расположенного при входе в ресторанчик, в нарочито запущенных, и даже замшелых, сенях. Это помещение называлось «Веселый китобой», свет проходил через пыльное окно в крыше, причем пыль была искусственная: стекло сверху поливалось жидкостью для мытья стекол, которая засыхала и не стиралась. Тень стропил и развешанных на них гарпунов ложилась от света, проникающего через это окошечко, падала

на прилавков, где были разложены всякие сувениры. Зайка старался создать впечатление, что настоящие китобои, пахнущие ворванью, ромом и потом, оставили свои гарпуны у него на хранение и вот-вот вернутся за ними.

Сейчас под сенью стропил и гарпунов по киоску расхаживали Аманита Бантлайн и Каролина Розуотер. Аманита шла впереди – она задавала тон, жадно и глубоко хватая сувениры с прилавка. А сувенирчики были такие, что могли даже импотента мужа заставить выполнять прихоти холодной супруги. Каролина казалась робким отражением Аманиты. Она как-то неловко путалась у нее под ногами, а та непрестанно заслоняла от нее вещи, которые Каролина хотела поглядеть. Но как только Аманита отходила и Каролине становилось видно то, что Аманита ей заслоняла, у нее сразу пропадала охота смотреть на прилавков. Каролине вообще было неловко, все ее тяготило: и то, что ее мужу приходилось работать, и то, что на ней было платье с чужого плеча, и все знали, что это платье Аманиты, и, наконец, то, что в сумке у нее лежали какие-то гроши.

Каролина вдруг как бы со стороны услышала собственный голос:

– Вкус у него, конечно, неплохой.

– А у них у всех, таких, как он, вкус хороший, – сказала Аманита. – И за покупками ходить с ними интереснее, чем с женщинами. О тебе, конечно, не говорю.

– А почему у них такое художественное чутье?

– Они гораздо тоньше все воспринимают, дорогая моя. Они – как *мы с тобой*. Они чувствуют.

– А-а...

В дверях возник Зайка Виск. Он заскользил, словно пританцовывая, на гладких, чуть поскрипывающих подошвах модных туфель. Зайка был худощав, ему можно было дать лет тридцать с лишним. Глаза у него были, как у всех богатых американских педерастов, – похожи на поддельные драгоценности и, словно стеклянные сапфиры при свете елочных лампочек, поблескивали из-под ресниц. Зайка приходился правнуком знаменитому капитану Ганнибалу Виску из Бедфорда, человеку, убившему в конце концов Моби Дика. Ходил слух, что по крайней мере семь из трех гарпунов, которые теперь покоились на стропилах у Зайки, были вытащены из туши Великого Белого Кита.

– Аманита! Аманита! – восторженно крикнул Зайка. Он схватил ее в объятия, крепко прижал к себе. – Как ты, моя любимая?

Аманита рассмеялась.

– Тебе смешно?



– Мне? Ничуть!

– Я так надеялся, что ты сегодня придешь. Хочу испытать твою сообразительность.

Зайка хотел показать ей одну новую штучку, пусть догадается, что это такое. С Каролиной он даже не поздоровался, но сейчас она заслоняла ту часть прилавка, где, как он думал, стояла новая вещь, и поэтому он сказал:

– Ах, простите!

– Извините, пожалуйста! – И Каролина Розуотер отступила в сторонку. Зайка никогда не помнил, как ее зовут, хотя она побывала в «Затоне» раз пятьдесят, не меньше.

Зайка не нашел того, что искал, скользнув дальше, и Каролина снова оказалась у него на пути:

– Ах, простите!

– Простите *меня*! – И уступая ему дорогу, Каролина споткнулась о старинную скамеечку для дойки коров, и, упав, ударилась коленом об эту скамейку, и схватилась обеими руками за столб.

– О Боже! – раздраженно сказал Зайка. – Вы не ушиблись? Ничего не задето?

Каролина жалко улыбнулась.

– Только мое самолюбие!

– Шут с ним, с вашим самолюбием, душенька. – И голос его прозвучал совсем по-бабьи. – *Кости целы? Внутри* ничего не болит?

– Все прошло, спасибо...

Зайка повернулся к ней спиной и стал снова искать нужную вещь.

– Но ведь вы помните Каролину Розуотер? – сказала Аманита. Вопрос был явно ненужный, неприятный.

– Разумеется, я помню миссис Розуотер. Вы родственница сенатора?

– Вы всегда меня об этом спрашиваете.

– Неужели? И что же вы *всегда* мне отвечаете?

– Как будто мы родственники, только очень дальние – предки общие...

– Занятно. Вы знаете, он уходит в отставку.

– Вот как!

Зайка остановился перед ней. В руках у него была небольшая коробка.

– Неужто он вам не *сообщил*, что уходит в отставку?

– Нет... Он...

– Разве вы с ним не *общаетесь*?

– Нет, – сказала Каролина, грустно опустив голову.

– Мне кажется, с ним было бы чрезвычайно интересно *общаться*.

Каролина кивнула:

– Да...

– Но вы с ним никак не *общаетесь*?

– Нет...

– А теперь, дорогая моя, – начал Зайка, повернувшись к Аманите с коробочкой в руках, – сейчас мы проверим ваши умственные способности. – Он достал из коробки с надписью «Сделано в Мексике» жестянку без крышки. Снаружи и внутри жестянка была оклеена пестрой веселенькой бумагой. На дно снаружи была приклеена круглая кружевная салфетка, а на нее прикреплена искусственная водяная лилия.

– Ну-ка догадайтесь, что это за штука? Зачем она? И если вы угадаете – а стоит она семнадцать долларов, – я вам ее подарю, хотя и знаю, что вы чудовищно богатая дама!

– А *мне* можно попробовать? Вдруг я угадаю? – спросила Каролина.

Зайка прикрыл глаза.

– Разумеется, – сказал он усталым голосом.

Аманита сдалась сразу, гордо заявив, что она ничего не соображает и ненавидит всякие тесты. У Каролины заблестели глаза, она только-только собиралась что-то прощebetать, прочирикать, как птичка, какую-то остроумную догадку, но Зайка не дал ей высказаться:

– Это футляр для запасного ролика туалетной бумаги!

– Я так и догадалась, *хотела* сказать... – проговорила Каролина.

– Неужели? – равнодушно сказал Зайка.

– Она у нас в университете училась, член клуба «Фи-Бета-Каппа».

– Неужели? – повторил Зайка.

– Да, – сказала Каролина. – Но я об этом редко говорю. Я и вспоминаю редко.

– Я тоже, – сказал Зайка.

– Вы тоже член «Фи-бета-каппа» клуба?

– Вам это обидно?

– Нет...

– По сравнению с другими клубами, – сказал Зайка, – в этом слишком много народу.

– Тебе нравится эта штука, мой маленький гений? – спросила Аманита, вертя коробочку перед Каролиной.

– Да-да, конечно... Очень мило... Прелестная вещь.

– Хочешь взять?

– За *семнадцать* долларов? – сказала Каролина. – Вещь очаровательная, но... – Она сразу погрузилась: неприятно быть нищей. – Может быть, потом... когда-нибудь...

– А почему не сегодня? – спросила Аманита.  
– Ты знаешь почему. – Каролина густо покраснела.  
– А если я тебе куплю?  
– Не надо! Семнадцать долларов!  
– Если ты не перестанешь огорчаться из-за денег, моя птичка, придется мне завести другую подругу.  
– Что я могу тебе *сказать*?  
– Зайка, сделайте, пожалуйста, подарочный пакет, – попросила Аманита.  
– Ах, Аманита, спасибо тебе большое! – сказала Каролина.  
– Ты и не такой подарок заслужила!  
– Спасибо тебе!  
– Каждый получает по заслугам! – сказала Аманита. – Верно я говорю, Зайка?  
– Это основной закон жизни! – сказал Зайка Вискс.

Мотобот «Мария» уже дошел до загонов и стал виден посетителям ресторана Зайки Вискса.

– Брось травить, пора ловить! – крикнул Гарри сыновьям, разлегшимся на носу бота.

Гарри заглушил мотор. Бот по инерции проскользнул через ворота загона в кольцо из шестов и свисавших с них сетей.

– Чуете? – сказал Гарри. Он спрашивал сыновей, чуют ли они запах рыбы, запутавшейся в сетях.

Те потянули носами, сказали, что, конечно, учуяли.

Широкое чрево сети, то ли пустое, то ли полное рыбы, лежало на дне. Край сети выходил из воды, перекидываясь от шеста к шесту как бы параболой. Край уходил под воду только в одном месте. Это и были ворота сети. Это и была та пасть, которая заглатывала всю рыбу, какая попадалась, направляя ее прямо в обширное чрево сети.

Теперь сам Гарри оказался внутри загона. Он отвязал верхний канат от крестовины возле ворот, выбрал слабинку и снова привязал канат к крестовине. Теперь выход из мотни был навсегда закрыт – по крайней мере для рыбы. Рыба в этом чреве была обречена.

«Мария» тихонько тыкалась боком в ограду западни. Гарри и его сыновья, выстроившись в ряд, перебирая стальными руками края сети, вытаскивали ее из воды, погружая в воду другой край.

Все втроем, перебирая сеть, перехватывали ее из рук в руки, и пространство, в котором оставалась рыба, становилось все меньше и

меньше. И по мере того как это пространство уменьшалось, «Мария» пробиравалась поверху, бочком, все дальше внутрь загона.

Никто не сказал ни слова. Это было время великого таинства. Даже чайки умолкли, пока эти трое, отрешившись от всякой мысли, выбирали сеть из моря.

Все пространство, оставшееся для рыбы, сократилось до овальной лужицы. Казалось, что в глубине вспыхивают, сыплются дождем мелкие серебряные монетки. Мужчины продолжали свое дело, перебирая сеть.

Теперь единственное пространство, оставшееся для рыбы, превратилось в кривое, глубокое корыто у борта «Марии». Оно становилось все мельче, а мужчины все тянули, перехватывая сеть из рук в руки. Рыба-кузовок, допотопное чудище, десяти-фунтовый головастик, усаженный шипами и бородавками, всплыла наверх, открыла свой утыканный игольчатыми зубами рот, сдаваясь на милость победителя. А вокруг этого безмозглого, несъедобного, одетого в панцирь страшилища вода вздувалась, кипела маленькими водоворотами. Крупная добыча таилась внизу, во тьме.

Гарри и два его рослых сына снова принялись за работу, выбирая сеть и снова опуская. Для рыбы уже почти совсем не оставалось места. И как ни странно, поверхность воды вдруг застыла как зеркало.

Внезапно плавник тунца распорол зеркальную гладь и снова скрылся!

Несколько мгновений спустя загон превратился в крошечный кровавый ад. Восемь крупных тунцов взбивали воду, она кипела, вздымалась волнами, расступалась, смыкалась. Тунцы стрелой неслись от «Марии», натыкались на сеть, снова неслись назад.

Сыновья Гарри схватили свои багры. Младший сунул крюк под воду, всадил его рыбе в брюхо, повернул крюк, и рыба забилась в предсмертной агонии.

Рыба всплыла возле борта, оглушенная болью, боясь пошевелиться, чтобы боль не стала еще острее.

Младший сын Гарри рванул багор на себя, да еще крутанул. Новая боль, куда страшнее прежней, заставила рыбу встать на хвост и с мягким упругим стуком перевернуться через борт «Марии».

Гарри ударил рыбу по голове громадным молотом. Рыба больше не шелохнулась.

Следующая рыба тяжело ввалилась в лодку. Гарри и ее ударил по голове – так и глушил, одну за другой, пока восемь могучих рыб не легли рядом, мертвые.

Гарри захохотал, вытер нос рукавом. «Вот сукин сын, ребята! Сукин

сын!»

Ребята тоже захохотали. Все трое были так довольны жизнью, что дальше некуда.

Младший парень показал нос всем снобам из ресторанчика.

– А пошли они все в ж...! Верно, ребята? – сказал Гарри.

Зайка подплыл к столику Аманиты и Каролины, позвенел браслетом, сковывающим его запястье, положил руку на плечо Аманиты, но к их столику не присел. Каролина отвела бинокль от глаз и проговорила подавленным шепотом:

– Ах, как это похоже на жизнь! Как Гарри Пина похож на Бога!

– Он – Бог? – удивился Зайка.

– Неужели вы меня не понимаете?

– Думаю, что вас поймут только рыбы. Но я не рыба. Могу вам объяснить, *кто* я такой!

– Только не за едой! – сказала Аманита.

Зайка коротко хихикнул, но продолжал, не обращая внимания:

– Ведь я – *директор банка!*

– Какое это имеет отношение к нашему разговору? – сказала Аманита.

– Директор банка знает, кто обанкротился, кто нет. И если этот рыбак кажется вам Богом, то должен, к великому сожалению, открыть вам, что этот ваш Бог – совершенный банкрот.

Тут Аманита и Каролина запротестовали, зашебетали – каждая по-своему, уверяя, что такой крепкий мужчина не может потерпеть неудачу. Слушая их, Зайка все крепче сжимал плечо Аманиты, и она вдруг пожаловалась:

– Вы делаете мне больно!

– Простите. Не знал, что вы такая чувствительная!

– Негодник!

– Возможно, – согласился Зайка, но сжал плечо Аманиты еще крепче.

– Всем им давно пришел конец, – сказал он про Гарри и его сыновей.

Он больно сжал плечо Аманиты, словно хотел сказать: «А сейчас помолчите-ка минутку, ведь я-то сейчас не шучу».

– Настоящие люди уже не зарабатывают на жизнь таким способом. Эти три романтика устарели так же, как Мария Антуанетта со своими фрейлинами, доившими коров. И когда против них возбудят дело о банкротстве – через неделю, через месяц, через год, – они поймут, что в экономическом отношении они никакой ценности не представляют, разве только как живые картинки для рекламы моего ресторана.

Надо отдать справедливость Зайке: он вовсе не злорадствовал по этому поводу.

– Теперь конец всякой кустарщине, люди, гнущие спину над работой вручную, никому больше не нужны.

– Но разве такие люди, как Гарри, не выходят всегда из всего победителями? – спросила Каролина.

– Именно они всегда проигрывают, – сказал Зайка. Он снял руку с плеча Аманиты. Он оглядел свой ресторан, кивком указал Аманите, сколько у него посетителей, как будто предлагая ей сосчитать их. Мало того, он словно просил их обеих разделить его презрение к другим его клиентам. Почти все они были богатыми наследниками. Почти все жили на капиталы, накопленные не знаниями, не трудом, а добытые всякими махинациями и охраняемые законом. Четыре разжиревшие, тупые дуры, богатые вдовы в мехах, гоготали над непристойной шуточкой на бумажной салфетке.

– Вот и глядите, кто победители, а кто побежден, – сказал Зайка.

Норман Мушари взял напрокат красную машину в аэропорту Провиденс и проехал восемнадцать миль до Писконтьюта – искать Фреда Розуотера. В конторе все считали, что он болеет и лежит дома в постели. Но на самом деле он чувствовал себя отлично.

Фреда он не мог найти весь день, по той причине, что Фред тихо спал на своей яхте – удовольствие, которому он любил тайком предаваться в жаркие дни. В жару делать было нечего – никто не покупал страховые полисы даже со скидкой для бедняков.

Фред брал маленькую шлюпку в яхт-клубе и выходил в залив к своей яхте. Скрип-скрип – пели весла, борта шлюпки всего дюйма на три высились над водой, – и плыл туда, где стоял на якоре его «Бутон-2». Он тяжело плюхался на корму, где его никому не было видно, клал под голову оранжевый спасательный жилет и, слушая плеск волн, скрип и позвякивание снастей, засовывал руку меж колен и, чувствуя себя в Царстве Небесном, погружался в сладкий детский сон. Тут ему было хорошо.

У Бантлайнов служила в горничных молодая девушка по имени Селина Дейл, знавшая тайну Фреда. Оконце ее комнаты выходило на залив. Когда она, как сейчас, сидела на узкой своей кровати и писала, в окне, как в рамке, виднелся «Бутон-2». Она оставила дверь открытой, чтобы слышать телефонные звонки. Это и была ее обязанность во второй половине дня – отвечать на телефонные звонки. Правда, звонили редко, и Селина спрашивала себя: «А зачем людям сюда звонить?»

Селине было восемнадцать лет. Она рано осиротела, и ее взяли на службу из сиротского приюта, основанного семейством Бантлайн в 1878 году, в городе Потакете. Основывая этот приют, Бантлайны поставили три условия: во-первых, всех детей положено было воспитывать в духе учения Христова, независимо от их расы, цвета кожи, религиозной принадлежности. Во-вторых, воспитанники должны были еженедельно перед воскресным ужином произносить слова обета, и в-третьих, каждый год в семейство Бантлайнов полагалось присылать из приюта на какое-то время умненькую, чистоплотную девушку-сиротку на должность горничной, «...дабы ознакомить ее с более достойным образом жизни и, быть может, внушить желание подняться на несколько ступеней выше в

овладении некоторыми тонкостями хорошего воспитания и культурного обращения».

Тот обет, который Селина повторила шестьсот раз перед тем, как вкусить шестьсот весьма скудных воскресных ужинов, был сочинен Кастором Бантлайном, прапрадедушкой несчастного Стюарта Бантлайна:

«Торжественно клянусь, что всегда буду уважать собственность других людей и довольствоваться своим уделом, предначертанным мне в жизни милостью Господней. Я всегда буду испытывать чувство благодарности к своим хозяевам, никогда не стану жаловаться ни на положенную мне плату, ни на лишнюю работу, но постоянно буду вопрошать себя: «Что еще могу я сделать для своих хозяев, для своей Республики и для Господа Бога? Я понимаю, что рождены мы на этой земле не для счастья, мы рождены для испытания. И если я хочу пройти это испытание, то мне надлежит всегда быть человеком бескорыстным, всегда трезвым, всегда правдивым, всегда чистым душой, телом и всеми своими деяниями, и всегда преисполненным уважения к тем, кого Создатель, в неизреченной своей мудрости, поставил надо мной. Если я выдержу это испытание, то после смерти причащусь жизни вечной, райского блаженства. Если же не выдержу, то буду вечно гореть в адском пламени, и дьявол будет ликовать, а Христос – скорбеть надо мной».

\* \* \*

Селина, прехорошенькая девушка, прекрасно игравшая на рояле и мечтавшая стать медицинской сестрой, сейчас писала письмо директору сиротского приюта Уилфреду Парроту. Ему было шестьдесят лет. Жизнь он провел интересную, разнообразную – сражался в Испании, в батальоне имени Линкольна, и с 1933 по 1936 год писал для радио серию передач под названием «За синим горизонтом». В сиротском приюте детям жилось прекрасно. Все ребята называли Паррота «папочка», все умели хорошо готовить, играть на каком-нибудь инструменте, танцевать и рисовать.

Селина пробыла у Бантлайнов уже месяц. Ей полагалось прослужить целый год. Вот что она писала своему директору:

*Дорогой папочка Паррот, может быть, тут все станет лучше, но пока я этого не вижу. Мы с миссис Бантлайн никак не поладим. Она все время называет меня неблагодарной и заносчивой. Может быть, это и*



правда, хотя я вовсе не хочу так себя вести. Главное, чтобы она не повредила нашему дому, из-за того что злится на меня. Это меня тревожит сильнее всего. Видно, надо мне еще больше стараться выполнять наш обет. Самое плохое, что она все время видит что-то по моим глазам. А у меня по глазам все видно, хотя я и стараюсь не показывать. Она скажет что-нибудь, сделает какую-нибудь глупость или еще что, и я, конечно, промолчу, а она посмотрит мне в глаза и начинает страшно злиться. Как-то она мне говорит, что после мужа и дочки она больше всего на свете любит музыку. У них тут по всему дому расставлены динамики. И все они соединены с огромным проигрывателем в шкафу, в передней. Целый день тут гремит музыка, и миссис Бантлайн говорит, что она ужасно любит с утра выбрать какую-нибудь музыкальную программу и вставить пластинки в проигрыватель, где они сами сменяются. Сегодня с утра из всех репродукторов гремела музыка, но я никогда еще такой музыки не слыхала. Было совсем не похоже на музыку, звук был такой высокий, такой быстрый, такой пронзительный, а миссис Бантлайн еще все время подпевала и качала в такт головой, видно, хотела показать, как ей это нравится. Я просто сходила с ума. А тут еще пришла ее лучшая подруга, ее зовут миссис Розуотер, и тоже начала говорить, какая чудная музыка. Она сказала, что пусть только ей повезет в жизни, и она тоже заведет у себя такую музыку. И тут я не выдержала и спросила миссис Бантлайн, что это за музыка. «Как, дитя мое, – сказала она, – да ведь это же сам бессмертный Бетховен!» «Как Бетховен?» – сказала я. «А ты когда-нибудь про него слышала?» – говорит она. «Да, мэм, слышала, конечно, – говорю я, – наш папочка Паррот все время играл нам Бетховена у нас, в доме, только звучал он как-то по-другому...» И тут она подвела меня к проигрывателю и сказала: «Вот я сейчас тебе докажу, что это Бетховен! Я поставила в проигрыватель именно Бетховена, и ничего, кроме Бетховена, я туда не ставила. Со мной так бывает – хочу слушать только Бетховена!»

И тут миссис Розуотер говорит: «Я тоже обожаю Бетховена!» А миссис Бантлайн вынимает все пластинки и говорит мне: «Посмотри, Бетховен это или нет». Я посмотрела – действительно Бетховен. Она вложила в проигрыватель все девять симфоний, но эта несчастная женщина поставила скорость семьдесят восемь оборотов в минуту, вместо тридцати трех! И никакой разницы не почувствовала. Надо было мне сказать ей или нет? И я сказала ей очень вежливо, но, наверно, по моим глазам она что-то заметила, и страшно разозлилась, и тут же послала меня мыть шоферскую уборную при гараже. Но оказалось, что

работа вовсе не такая грязная. У них нет шофера уже много лет.

В другой раз, папочка, она взяла меня с собой на моторную яхту мистера Бантлайна – смотреть парусные гонки. Я сама попросила ее захватить меня с собой. Я сказала, что в Писконтьюте только и разговору, что об этих парусных гонках. И еще сказала, что мне хотелось бы посмотреть, действительно ли это так интересно. В этот день в гонках участвовала их дочка, Лайла. Она – самая лучшая яхтсменка в городе. Вы бы посмотрели, сколько кубков она выиграла. Они расставлены по всему дому. Хороших картин тут у них нет. У одного из соседей есть подлинный Пикассо, но я сама слышала, как этот сосед сказал, что лучшие бы у него вместо этого Пикассо была такая дочка, как Лайла, которая умела бы так здорово управлять яхтой. Я подумала, не все ли ему равно, но вслух ничего не сказала. Поверьте мне, папочка, я тут у них не говорю и половины того, что думаю. Словом, отправились мы смотреть эти гонки – и вы бы послушали, как миссис Бантлайн орала и бранилась. Помните, какие слова говорил Артур Гонсалес? А миссис Бантлайн и не такие слова кричала, Артур, наверное, таких никогда и не слышал. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы дама так выходила из себя и так злилась. Про меня она и забыла. Она была похожа на ведьму, искусанную бешеной собакой. Можно было подумать, что судьба всего мира зависит от этих загорелых детей на красивых белых яхточках. Вдруг она вспомнила, что я все слышу и что не стоило при мне кричать всякие гадкие слова.

– Постарайся понять, почему мы все так волнуемся, – сказала она. – Ведь Лайла вот-вот может выиграть «Кубок Командира».

– О, – сказала я. – Теперь мне все понятно, – честное слово, папочка, больше я ничего не говорила, но по глазам, наверное, было что-то заметно.

Главное, что меня поражает в этих людях, – это вовсе не то, что они такие невежественные или такие алкоголики. Удивительней всего, что они думают, будто все на свете – подарок бедным людям от них или от их предков. В первый день моего приезда миссис Бантлайн провела меня на боковую террасу, посмотреть закат. Я посмотрела и сказала, что мне очень нравится, но она ждала, что я должна что-то ей сказать. Но я никак не могла придумать, что мне еще полагается говорить, и я сказала довольно глупую фразу: «Спасибо вам за это». Оказалось, что она именно этого и ждала. «Пожалуйста!» – сказала она. После этого я уже благодарила ее за океан, за луну, за звезды в небе и даже за Конституцию Соединенных Штатов.

Может быть, я очень нехорошая и глупая и потому не понимаю, как можно жить в этом Писконтьюте. Может быть, я просто та свинья,

*перед которой нечего метать бисер, но мне никак не понять, почему так выходит. Я хочу домой. Пишите мне поскорее. Я вас очень люблю.*

*Селина.*

*Р. С. Кто же на самом деле правит этой безумной страной? Уж конечно, не эти ничтожества.*

\* \* \*

Чтобы скоротать время, Норман Мушари съездил в Ньюпорт и заплатил двадцать пять центов за осмотр знаменитого поместья Рэмфордов. Как ни странно, владельцы этого поместья до сих пор жили в своем особняке и любили глазеть на посетителей. Публику, конечно, пускали не ради каких-то денег.

Мушари очень обиделся, когда один из Рэмфордов, огромный малый, ростом в два метра с лишним, заржал прямо ему в лицо. Он тут же пожаловался дворецкому, проводившему экскурсию:

– Уж если им так не нравятся посетители, зачем они их пускают, да еще деньги берут?

Но никакого сочувствия у дворецкого Мушари не встретил: тот терпеливо и сухо разъяснил, что такие осмотры разрешаются лишь раз в пять лет, всего на один день. Так гласило завещание, составленное три поколения тому назад.

– А почему в завещание был включен такой пункт?

– Такова была воля первого владельца поместья, он считал, что его наследникам, живущим в этих стенах, небесполезно будет хотя бы изредка, глядя на случайно попавших к ним извне людей, ознакомиться с представителями других кругов. – Дворецкий оглядел Мушари сверху вниз. – Так сказать, через них ознакомиться с современностью. Вы меня поняли?

Когда Мушари выходил из особняка, Лэнс Рэмфорд увязался за ним. Глядя с высоты своего роста на низенького Мушари, он объяснил притворно ласковым голосом, что его мамаша считает себя великим знатоком человеческих типов и предполагает, что Мушари когда-то служил в американской пехоте.

– Нет.

– Не может быть! Она так редко ошибается. Она даже подчеркнула, что вы были снайпером.

– Нет, нет!

Лэнс пожал плечами.

– Значит, не в этой жизни, а в прошлом воплощении! – сказал он и опять заржал.

Сыновья самоубийц часто думают – не покончить ли им с собой, особенно к вечеру, когда в их крови падает содержание сахаристых веществ.

Так было и с Фредом Розуотером, когда он возвратился домой после работы. Он чуть не упал, споткнувшись о пылесос у входа в гостиную, отскочил, чтобы восстановить равновесие, ударился ногой о столик, опрокинул вазочку с мятными конфетами. Опустившись на колени, он стал подбирать рассыпанные леденцы.

Он понял, что жена дома, потому что проигрыватель, который Аманита подарила ей ко дню рождения, гремел вовсю. У Каролины было всего-навсего пять пластинок, и она все их зарядила в проигрыватель. Пять пластинок можно было получить бесплатно при вступлении в Клуб любителей грамзаписи. Она измучилась вконец, пока не остановилась на пяти из ста пластинок. В конце концов она выбрала песенку Фрэнка Синатры «Танцуй со мной», «Господь – великий наш оплот и другие религиозные гимны» в исполнении хора Мормонской капеллы, «Далеко до Типперэри и другие песни» в исполнении хора и оркестра Советской Армии, «Симфонию Нового Света» – дирижер Леонард Бернстайн и, наконец, «Стихи Ди-лана Томаса» – читает Ричард Бертон.

Голос Бертон гремел вовсю, пока Фред подбирал рассыпанные конфетки.

Фред поднялся с полу, пошатнулся. В ушах звенело. Перед глазами плыли пятна. Он поплелся в спальню – Каролина спала не раздевшись. Она была совсем пьяна и к тому же, как всегда, завтракая с Аманитой, объелась цыпленком под майонезом.

Фред вышел на цыпочках из спальни, подумав, не повеситься ли ему в подвале, на водопроводной трубе.

Но тут он вспомнил о сыне. Он слышал шум воды в уборной – значит, маленький Франклин дома. Он прошел в комнату сына и стал его ждать. Только в одной этой комнатке Фред чувствовал себя спокойно. Шторы на окне были, как ни странно, спущены, хотя солнце уже зашло, а никаких любопытных соседей поблизости не было, свет в комнате только и шел от причудливой лампы на ночном столике. Лампа была сделана в виде гипсовой фигурки кузнеца с поднятым молотом. За кузнецом находился

квадрат матового стекла оранжевого цвета. За стеклом помещалась электрическая лампочка, а над лампочкой – маленький жестяной вентилятор. Когда лампочка нагревалась, от нее поднимался горячий воздух, и вентилятор начинал крутиться. От блестящей поверхности вентилятора на оранжевое стекло падали беглые блики – казалось, что за этим стеклом горит настоящий огонь.

Про эту лампу рассказывали целую историю. Тридцать три года тому назад мастерская, изготавливавшая такие лампы, была последним предприятием покойного отца Фреда.

Фред подумал – не наглотаться ли ему снотворного, но снова вспомнил о сыне. При жутковатом мигании лампы он оглядел комнату, ища, о чем бы ему поговорить с мальчиком, и увидел торчащий из-под подушки край фотоснимка. Фред вытащил фото, думая, что это, наверное, фото какого-нибудь знаменитого спортсмена, а может, и его, Фреда, фото у руля их яхты «Бутон-2».

Но оказалось, что это – порнографическая картинка, которую маленький Франклин купил утром у Лайлы Бантлайн на свои честно заработанные деньги – он разносил газеты. На картинке были изображены две толстые, жеманные голые шлюхи, причем одна из них пыталась каким-то немыслимым образом войти в интимные отношения с очень солидным, полным достоинства и очень серьезным шотландским пони.

Фреду стало тошно, стыдно. Он сунул картинку в карман, прошлепал на кухню, думая: «Господи, ну что же сказать мальчику?»

Кстати о кухне: электрический стул там был бы вполне уместен. Очевидно, Каролина именно так представляла себе камеру пыток. Там стоял фикус. Он умирал от жажды. В мыльнице над раковиной лежал раскисший ком, слепленный из разноцветных обмылков. Лепить мыльные шары из обмылков было единственным достижением Каролины в искусстве домоводства, которое она и внесла в их совместную жизнь. Этому искусству ее обучила мать.

Фред подумал – не налить ли в ванну горячей воды, забраться туда и перерезать себе вены нержавеющей бритвой. Но тут он увидел, что мусорное пластиковое ведро в углу доверху полно, вспомнил, какие истерики Каролина закатывает с похмелья, после перепоя, увидев, что никто не вынес мусор. Пришлось вынести ведро к гаражу, выкинуть мусор и вымыть ведро под шлангом около дома.

Фрррр-шрррр-брррл-брылл – булькала вода в ведерке. Тут Фред заметил, что кто-то оставил свет в подвале. Он поглядел со ступенек сквозь запыленное окошко, увидел верх шкафа, где хранились запасы. На нем

лежала рукопись его отца – их семейная хроника, которую Фред никогда и не собирался читать. На рукописи стояла жестянка с крысиным ядом и лежал револьвер тридцать восьмого калибра, изъеденный ржавчиной.

Натюрмортик был весьма интересный. Но тут Фред увидел, что это не натюрморт, а живая картина. Маленький мышонок грыз угол рукописи.

Фред постучал в окошко. Мышонок замер, оглянулся по сторонам и снова принялся грызть манускрипт.

Фред спустился в подвал, снял рукопись со шкафа, хотел взглянуть, не слишком ли она обгрызена, сдул пыль с титульного листа, на котором стоял заголовок, гласивший:

«МЭРРИХЬЮ РОЗУОТЕР. ИСТОРИЯ СЕМЕЙСТВА РОЗУОТЕРОВ С РОД-АЙЛЕНДА».

Фред развязал шнур, стягивающий рукопись, и стал читать с первой страницы, которая начиналась так:

«Родиной Розуотеров в Старом Свете всегда был Корнуолл, точнее Силлийские острова. Основатель рода, по имени Джон, прибыл на остров Пресвятой Девы в 1645 году в свите пятнадцатилетнего принца Карла, ставшего впоследствии королем Карлом Вторым, в ту пору скрывавшимся от восстания, поднятого пуританами.

Фамилия Розуотер вымышлена. До того как Джон назвался этим именем, никаких Розуотеров в Англии не существовало. Настоящее его имя Джон Грэхем. Он был младшим из пяти сыновей Джеймса Грэхема, пятого герцога и первого маркиза Монтроза. Сыну Джеймса Грэхема пришлось скрыться под псевдонимом, так как сам Джеймс являлся вождем роялистов, чье дело было проиграно. За Джеймсом числится множество романтических приключений, например, однажды он, переодевшись простым шотландцем, отправился в Горную Шотландию и там собрал небольшой, но свирепый отряд и одержал победу в шести кровавых схватках над превосходящими силами противника – то есть над пресвитерианцами, коими командовал Арчибальд Кэмпбелл, восьмой герцог Аргайльский. Кроме всего прочего, Джеймс был поэтом.

Из вышесказанного следует, что в каждом Розуотере течет благородная кровь шотландской знати и что их настоящее имя не Розуотер, а Грэхем. Джеймс был повешен в 1650 году».

Бедный старый Фред просто глазам не верил – неужто он происходит

от таких славных предков? Кстати, на нем были носки «аргайки» шотландской шерсти, и он даже поддернул штаны, чтобы взглянуть на эти носки. Теперь имя *Аргайль* приобрело для него совершенно новый смысл. Да, сказал он себе, один из моих предков победил Аргайля шесть раз подряд. Тут Фред заметил, что стукнулся тогда ногой о столик гораздо сильнее, чем ему казалось, и сейчас кровь из ссадины капала на его аргайльские носки.

Он стал читать дальше.

«Джону Грэхему, принявшему имя Джона Розуотера, очевидно, пришлось по душе жизнь на Силлийских островах, их мягкий климат и его новое имя, ибо он остался там навсегда и стал отцом семерых сыновей и шести дочерей. Он тоже, как говорили, был поэтом, хотя его произведения до нас не дошли. Возможно, что, ознакомившись с его стихами, мы поняли бы то, что осталось для нас тайной, а именно: почему потомок знатного рода отказался от своего благородного имени и от всех привилегий, сопряженных с таким званием, и довольствовался жизнью простого фермера на острове, вдали от тех мест, где сосредоточены и власть, и богатство. Могу лишь высказать догадку, которая так и останется догадкой: очевидно, ему претили все кровавые дела, в коих он участвовал, сражаясь вместе со своим братом. Во всяком случае, никаких попыток рассказать о себе своему семейству он не предпринимал, и, даже когда была восстановлена королевская власть, он не открыл никому, что он из рода Грэхемов. В хронике семьи Грэхемов о нем сказано, что он, очевидно, пропал без вести в морском бою, защищая своего принца...»

Фред услышал, как Каролину рвало в ванной.

«Род-айлендские Розуотеры – прямые потомки Фредерика, сына Джона. О Фредерике нам известно только то, что у него был сын по имени Джордж, который первым уехал с островов. Он отправился в Лондон и стал садоводом. У Джорджа было два сына, и младший из них, Джон, в 1731 году был посажен в долговую тюрьму. В 1732 году его освободил некий Джеймс Огглторп, заплативший за него все долги, при условии, что Джон будет сопровождать его, Огглторпа, в экспедицию в штат Джорджия. В этом штате Джон должен был стать главным садоводом экспедиции и посадить шелковичные деревья для разведения шелкопрядов. Джон Розуотер стал там же главным архитектором экспедиции, и по его плану был заложен город, впоследствии названный Саванной. В 1742 году Джон

был смертельно ранен в бою с испанцами на Кровавом Болоте».

Рассказ о подвигах и мужестве предков так окрылил Фреда, что он решил немедленно сообщить об этом своей супруге. Но он и не подумал взять священную книгу и показать ее жене. Нет, книгу нельзя было выносить из подвала, жене надлежало самой спуститься в священный подвал.

И Фред сдернул одеяло с Каролины, может быть, впервые за всю их супружескую жизнь отважившись на такой смелый, такой истинно мужской поступок. Он заявил, что его настоящая фамилия – Грэхем, что один из его предков спроектировал город Саванну и что она немедленно должна сойти с ним в подвал.

Спотыкаясь спросонья, Каролина сошла с лестницы за Фредом, и он, открыв перед ней манускрипт, вкратце изложил всю историю род-айлендских Розуотеров, вплоть до их участия в битвах с испанцами.

– Хочу тебе сказать, – добавил Фред, – что мы – не безродные ничтожества. Мне надоело, мне просто осточертело делать вид перед всеми, что мы – *никто*.

– Никогда я не делала вид, что мы – никто.

– Да ты всем внушала, что я ничтожество. – Эти слова невольно вырвались у Фреда, и оба они удивились – так точно определил он ее отношение к нему. – Ты знаешь, о чем я говорю, – добавил Фред. Он заговорил путано и торопливо, потому что ведь он не привык касаться таких важных, таких значительных и важных вопросов.

– Эти твои воображалы, ублюдки несчастные. Думаешь, лучше их никого на свете нет, по-твоему, они лучше нас, лучше *меня*! Посмотрел бы я, какая у них родословная, можно ли сравнить их предков с моими. Мне всегда казалось, что глупо хвастать своей родословной, но даю тебе честное слово – пусть только они захотят со мной потягаться, я им с удовольствием все покажу – пускай попробуют сравнить!!! И вообще *хватит* вечно извиняться! Другие говорят «здравствуйте!» или «до свидания», а мы только и знаем что бормотать «простите, пожалуйста!» – все равно, приходим или уходим. – Фред широко развел руки. – Хватит извиняться! Да, мы бедные! Ну и пусть, бедные так бедные! Мы – американцы! А именно в Америке как нигде *стыдно* извиняться за то, что ты бедный. В Америке надо первым делом спрашивать: «А он – верный гражданин, этот человек? Он честный малый? Он твердо стоит на своих ногах?»



Фред угрожающе поднял толстый фолиант над головой бедной Каролины.

– Род-айлендские Розуотеры были в прошлом людьми творческими, активными и всегда будут такими, – объявил он. – У кого-то из них деньги были, у других нет, но клянусь тебе, что все они сыграли свою роль в истории! Хватит вечно извиняться!

Фред явно убедил Каролину. Да и нельзя было не поддаться его страстным уверениям. Она совсем ошалела, с испугом и уважением слушая Фреда.

– Ты знаешь, какая надпись высечена над входом в вашингтонский архив?

– Нет, – призналась она.

– «Прошлое – пролог!»

– А-а...

– Вот так, – сказал Фред. – А теперь давай вместе прочитаем историю рода Розуотеров, давай вместе попробуем хоть немного укрепить нашу семью, будем больше уважать друг друга, доверять друг другу.

Она молча кивнула.

\* \* \*

Повествованием об участии Джона Розуотера в битве с испанцами кончалась вторая страница манускрипта. И Фред Розуотер осторожно взял двумя пальцами за уголок эту страницу и театральным жестом отвернул ее в ожидании дальнейших откровений.

Перед ним открылась огромная дыра. Термиты сожрали всю историю рода. Они так и кишели в рукописи, синевато-белесые, противные, и догрызали последние страницы.

Когда Каролина, содрогаясь от гадливости, прошлепала к выходу из подвала, Фред спокойно решил, что теперь ему *на самом деле* пора умереть.

Фред отлично умел делать любую петлю даже вслепую и, схватив веревку для белья, завязал ее как надо. Он влез на табуретку, закрепил веревку на водопроводной трубе и попробовал, крепка ли петля.

Он уже стал надевать ее на шею, когда послышался голос маленького Франклина, крикнувшего, что к отцу пришел какой-то человек. А этот человек, Норман Мушари, уже сам, незванный, спускался по лестнице в подвал, таща под мышкой туго набитый полуразинутый портфель.

Фред еле успел соскочить с табуретки; посетитель чуть не застал его врасплох в тот момент, когда он собирался покончить с собой.

– Мистер Розуотер?

– Я...

– Сэр, в эту минуту, сейчас, ваши родственники в Индиане грабят вас и вашу семью, отнимают у вас ваше законное наследство, миллионы долларов. Я приехал, чтобы подсказать вам, как вы сможете выиграть в суде, чрезвычайно просто и сравнительно без особых затрат, и вернуть себе эти миллионы.

Фред упал в обморок.

Два дня спустя Элиоту уже пора было сесть в автобус «Борзой» на остановке у закусочной и поехать в Индианаполис, где в гостинице, в апартаментах «Синяя птица» была назначена встреча с Сильвией. Стоял полдень. Элиот все еще спал. До поздней ночи ему не давали уснуть не только телефонные звонки, люди шли и шли, не считаясь со временем, чуть ли не все посетители приходили пьяные вдрызг. Весь город Розуотер был в панике. Сколько бы Элиот ни уговаривал своих клиентов, они все считали, что он бросает их навсегда.

Элиот очистил свой стол от хлама. Он разложил на нем новый синий костюм, новую белую рубашку, новый синий галстук, новую пару черных нейлоновых носков, новые спортивные шорты, новую зубную щетку и флакон «Лавориса». Зубную щетку он употребил всего лишь раз. Она до крови ободрала ему десны.

На дворе залаяли собаки. Они подбежали к пожарному депо, приветствуя своего любимца – всем известного пропойцу Делберта Пича. Они ластились к нему, явно одобряя его попытку сбросить с себя человеческий облик и стать собакой.

– Кыш! Кыш! – неуверенно бормотал он. – Я же не в охоте... черт вас дери!

Он ввалился с улицы в контору Элиота, захлопнул входную дверь перед мордами своих лучших друзей и с песней стал подниматься наверх к Эли-оту. Вот что он пел:

Подлечил одну заразу,  
Подцепил другую сразу.

Весь обросший щетиной, вонючий, подымался Делберт Пич по лестнице так медленно, что песни хватило лишь до полпути. Он затянул американский национальный гимн и все еще бормотал про звездно-полосатый флаг, когда влез наконец, отдуваясь и пыхтя, в контору Элиота.

– Мистер Розуотер, мистер Розуотер! – Но Элиот зарылся под одеяло с головой, и сон его был очень крепок, да еще его руки судорожно сжимали край одеяла. Но Пичу так хотелось лицезреть любимые черты, что он ухитрился разжать сильные кулаки Элиота.

– Мистер Розуотер, вы живы? Мистер Розуотер, вы не заболели?

Лицо Элиота перекопилось от напряженной борьбы за одеяло.

– Что? Что? Что такое? – Элиот открыл глаза.

– Слава Богу, а то мне померещилось, будто вы померли!

– Нет, как видно, я бы заметил, если б помер.

– Мне приснилось, что ангелы слетели с неба, подхватили вас и унесли прямо в рай, да и посадили рядышком со Спасителем нашим, Иисусом Христом.

– Нет, – сонно сказал Элиот. – Ничего такого не было.

– Будет когда-нибудь, будет обязательно. И вы оттуда услышите, как стенает и плачет по вас весь наш город.

Элиот надеялся, что ни стенаний, ни плача он оттуда не услышит, но промолчал.

– Но хоть вы и не померли, мистер Розуотер, но я-то знаю, что вы к нам больше никогда не вернетесь. Только попадете в Индианаполис, где столько света, столько веселья и красивых домов, опять попробуете сладкую жизнь, и вам еще больше захочется опять так пожить, да это и понятно, вы же и раньше хорошо жили, знаете в этом толк, и не успеешь оглянуться, как вы вернетесь в Нью-Йорк и уж там сладко заживете – лучше не бывает. Да и почему бы вам и не пожить всласть?

– Мистер Пич. – Элиот протер глаза. – Если я вдруг окажусь в Нью-Йорке и снова заживу такой сладкой жизнью, какой свет не видал, знаете, что со мной будет? Выйду я на берег к большой воде, меня сразу как громом ударит, и я бухнусь в воду, а там меня проглотит кит, и поплывет он в Мексиканский залив, а оттуда вверх по Миссисипи, вверх по Огайо, а оттуда по Белой, потом по Затерянной речке, прямо в розуотеровский канал. И поплывет мой кит по розуотеровскому судоходному каналу, прямо к этому городу, и изрыгнет меня из чрева китова прямо в Парфенон. Вот я и окажусь здесь снова!

– Что ж, вернетесь вы сюда, мистер Розуотер, или нет, я вам хочу преподнести подарок на дорогу; сейчас сообщу вам одну хорошую новость.

– Что же это за новость, мистер Пич?

– Ровно десять минут тому назад я дал зарок – спиртного никогда в рот не брать. Это вам мой подарок.

Тут зазвонил красный телефон. Элиот схватил трубку – это был телефон пожарной тревоги.

– Алло! Алло! – крикнул он, сжав левую руку в кулак, и выставил

средний палец. Ничего плохого в этом жесте не было – он просто приготовился нажать кнопку, которая приводила в действие сирену, громкую, как труба Судного дня.

– Мистер Розуотер? – Голос был женский, очень кокетливый.

– Да, да! Где горит?

– Мое сердце горит, мистер Розуотер!

Элиот взбесился – и это никого не удивило бы. Все знали, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь баловался с пожарным телефоном. Это было единственное, что он люто ненавидел. Голос он узнал сразу: звонила Мэри Моды, потаскушка, чьих близнецов он только вчера крестил. Ее подозревали во многих поджогах, судили за мелкие кражи и за проституцию – пять долларов с гостя. Элиот стал крыть ее всю за то, что она посмела позвонить по красному телефону:

– *Черт бы тебя побрал*, как ты смеешь звонить по этому номеру! Тебе в тюрьме место, гнить там весь век! Всех вас, идиотов, сукиных детей, кто смеет шутить с пожарным телефоном, швырнуть бы в ад, жарить там на сковородке до второго пришествия!

И он грохнул трубку на место.

Через несколько секунд зазвонил черный телефон.

– Фонд Розуотера слушает, – ласково сказал Элиот. – Чем могу вам помочь?

– Мистер Розуотер, это опять я, Мэри Моды... – Она захлебывалась от слез.

– Что случилось, дорогая моя? – Элиот честно не понимал, в чем дело. Он готов был на месте убить каждого, кто заставил бедняжку так горько плакать.

Шофер остановил черный «крайслер-империал» у дверей Элиота и открыл дверцу машины. Морщась от боли в суставах, оттуда вышел сенатор от штата Индиана Листер Эймс Розуотер. Тут его, конечно, не ждали.

Он кряхтя поднялся по лестнице. В прошлые времена ему подыматься было куда легче. Он невероятно состарился, да еще хотел показать, как невероятно он состарился. И сейчас он вел себя так, как никто из посетителей Элиота себя не вел: он постучал, спросил, можно ли войти, не помешает ли он. Элиот, все еще в длинных, очень несвежих армейских кальсонах, торопливо встал навстречу отцу и обнял его.

– Отец, отец, отец, вот неожиданная радость!

– Нелегко мне было приехать к тебе...

– Надеюсь, ты не думал, что я тебе не обрадуюсь?

– Противно видеть, какой тут хаос.

– Но тут куда чище, чем неделю назад.

– Неужели?

– Да, мы на прошлой неделе устроили генеральную уборку!

Сенатор скривил рот, отшвырнул носком башмака пустую жестянку из-под пива.

– Надеюсь, не ради меня. Зачем тебе бояться холерной эпидемии только оттого, что я ее боюсь? – Голос сенатора уже звучал спокойнее.

– Кажется, ты знаешь Долберта Пича?

– Я о нем знаю. – Сенатор кивнул Пичу: – Здравствуйте, мистер Пич. Разумеется, я знаю о ваших военных подвигах. Дважды дезертировали, не так ли? А может быть, трижды?

Пич совсем помрачнел, сильно струхнув от присутствия столь величественного гостя, и пробормотал, что он никогда в армии не служил.

– Ага, значит, я принял вас за вашего папашу. Прошу прощения. Трудно определить возраст человека, если он моется и бреется так редко.

Пич промолчал, подтвердив тем самым, что именно его отец и дезертировал из армии три раза.

– Может быть, нас оставят наедине хоть ненадолго, – сказал сенатор Элиоту, – или это будет противоречить твоим представлениям о том, какими дружескими и открытыми должны быть отношения в нашем обществе?

– Ухожу, ухожу, – сказал Пич. – Чувствую, что я тут лишний.

– Уверен, что вам не раз приходилось испытывать это чувство, – сказал сенатор.

Пич, уже прошаркавший до дверей, остановился, услышав эти обидные слова, сам удивился, что сообразил, как это обидно:

– Как вы можете так оскорблять людей, простых людей, ведь вы от них зависите – подадут они за вас голос или нет, нехорошо, сенатор.

– Как закоренелый пьяница, мистер Пич, вы должны отлично знать, что пьяных к избирательным урнам не допускают.

– А я голосовал, – сказал Пич. Ложь была слишком явной.

– Если так, то вы, наверное, голосовали за меня. Тут большинство за меня голосует, хотя я никогда не подлизывался к жителям штата Индиана, даже во время войны. А знаете почему? Потому что в каждом американце, даже самом пропащем, сидит задубелый, простецкий малый, вроде меня, который ненавидит всяких подонков еще больше, чем я.

– Право, отец, я и не надеялся *тебя* увидеть. Такая неожиданная радость. И выглядишь ты прекрасно.

– А чувствую себя прескверно. И новости у меня прескверные, особенно для тебя. Решил лично тебе сообщить.

Элиот слегка нахмурился:

– А когда у тебя действовал желудок?

– Не твое дело.

– Прости.

– Я к тебе приехал не за слабительным. Кое-кто считает, что у меня хронический запор с того самого дня, как объявили, что проект восстановления национальной экономики противоречит нашей конституции. Но я не потому здесь.

– Ты сказал, что чувствуешь себя *прескверно*.

– Ну и что?

– Обычно, когда ко мне приходят и жалуются на скверное самочувствие, девять из десяти жалобщиков страдают от запора.

– погоди, вот я тебе все расскажу, мой мальчик, тогда посмотрим, поможет тебе пурген или нет. Один адвокатишка, работающий в конторе «Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги», которому был открыт доступ ко всем документам, теперь уволился оттуда. Он нанялся к род-айлендским Розуотерам. Они собираются подать на тебя в суд. Они хотят объявить тебя невменяемым.

На столе у Элиота зазвонил будильник. Элиот взял часы и подошел с ними к красной кнопке на стене. Он напряженно смотрел на секундную стрелку, его губы беззвучно отсчитывали секунды. Он нацелил средний палец левой руки и вдруг ткнул им в кнопку, пустив в ход самую громкую сирену на всем Восточном полушарии.

От жуткого воя сирены сенатор, заткнув уши, отскочил в угол и прижался к стене. В семи милях от Розуотера, в Новой Амброзии, какой-то пес завертелся волчком, кусая собственный хвост. Случайный проезжий в закуской опрокинул кофе на себя, забрызгав бармена, а в «Салоне красоты у Беллы», у самой хозяйки, трехсотфунтовой Беллы, чуть не случился инфаркт. Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую, устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Уормерграма, державшего страховую контору рядом с пожарным депо:

– Ага, сбросило Чарли с его секретарши!

Элиот снял палец с кнопки. Гигантская сирена стала давиться собственным голосом. Она глухо бормотала одно и то же:

– Бля-бля-блям... Бля-бля-блям...

Никакого пожара в Розуотере не было. Просто надо было возвестить, что настал полдень.

– Ну и звук! – сказал сенатор, медленно выпрямляясь. – У меня все вылетело из головы.

– Может, это и хорошо?

– Ты слышал, что я тебе говорил про род-айлендских Розуотеров?

– Да.

– И как ты к этому относишься?

– Мне грустно и боязно. – Элиот вздохнул, попытался было невесело усмехнуться, но ничего не вышло. – Я ведь всегда надеялся, что никто не станет искать доказательств – здоров я или нет и что это вообще никакого значения не имеет.

– Разве у тебя когда-нибудь возникали сомнения, здоров ты психически или нет?

– Безусловно.

– И давно *это* началось?

Глаза у Элиота расширились, словно он искал в пространстве честный ответ.

– Лет с десяти, пожалуй...

– Ты шутишь, конечно!

– Очень утешительно, что ты в этом уверен.

– Ты был здоровым, нормальным ребенком!

– Серьезно? – Элиот искренне обрадовался, вспомнив, каким он был мальчиком, он был рад вызвать в памяти этот свой образ, вместо того чтобы думать о тех наваждениях, которые его одолевали.

– Мне только жаль, что в детстве мы привезли тебя сюда.

– А мне тут и тогда понравилось и нравится до сих пор.

Сенатор крепче уперся ногами в пол, готовясь нанести решительный удар.

– Возможно, мой мальчик, но теперь надо отсюда уезжать и больше не возвращаться.

– Как это – не возвращаться? – удивленно спросил Элиот.

– Этот этап твоей жизни окончен. Когда-нибудь должен был прийти



конец. Хотя бы за это стоит поблагодарить род-айлендских стервецов. Это они заставляют тебя уезжать отсюда – и уезжать немедленно.

– Как это они *могут*?

– А как ты сможешь доказать, что ты не сумасшедший, живя в такой декорации? Обстановочке?

Элиот оглядел комнату, ничего особенного не увидел.

– Тебе... тебе моя обстановка кажется *странной*?

– Да ты и сам все понимаешь, черт подери!

Элиот медленно покачал головой:

– Если тебе рассказать, отец, чего я не понимаю, ты, наверно, очень удивишься!

– Такой обстановки нигде в мире не найдешь. Если бы поставить на сцене такую декорацию и в ремарках было бы сказано: «При поднятии занавеса сцена пуста», то все зрители дрожали бы от нетерпения – поскорее увидеть, какой немыслимый психопат живет в таких условиях.

– А что, если этот псих выйдет и совершенно разумно объяснит, почему он так живет?

– Все равно он – психопат!

Элиот как будто с этим согласился. Во всяком случае, спорить он не стал, решив, что лучше ему умыться и переодеться перед отъездом. Он порылся в ящиках стола, нашел наконец бумажный пакет, где лежали вчерашние покупки: кусок душистого мыла, жидкость для ног, шампунь от перхоти, флакончик дезодоранта и тюбик зубной пасты.

– Рад, что ты опять решил принять приличный вид, сынок.

– Гм? – Элиот внимательно читал надпись на флакончике дезодоранта «Аррид» – таким он никогда не пользовался, да и вообще никаких средств от пота он никогда не употреблял.

– Вот приведешь себя в порядок, бросишь пить, уедешь отсюда, откроешь контору где-нибудь в Индианаполисе, в Чикаго, в Нью-Йорке, где угодно, – и когда начнется судебная экспертиза, все увидят, что ты абсолютно нормальный человек.

– Угу, – сказал Элиот и спросил отца, употреблял ли он когда-нибудь средство от пота «Аррид».

Сенатор обиделся:

– Я принимаю душ и утром, и на ночь. Предполагаю, это избавляет меня от нежелательных выделений.

– Тут написано, что при употреблении может выступить сыпь, и если выступит, то надо перестать пользоваться этим средством.

– Если тебя это беспокоит, выкинь эту штуку. Лучше воды и мыла ничего нет.

– Гм...

– Вот в чем наша беда тут, в Америке. Эти деятели с Мэдисон-сквер заставляют нас больше беспокоиться о наших подмышках, чем о России, Китае и Кубе, вместе взятых.

Разговор, в сущности, очень щекотливый для двух столь ранимых людей, сейчас незаметно перешел в совсем мирную беседу. Сейчас они спокойно и безбоязненно говорили обо всем.

– Знаешь, – сказал Элиот, – Килгор Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело. Там у них больше не с чем было бороться – не было ни эпидемий, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться с запахами.

– Видишь ли, если тебе придется выступать на суде, – сказал сенатор, – лучше не проявлять особых восторгов по поводу этого Килгора Траута. Твоя любовь к этой приключенческой чуши может создать впечатление у очень многих людей, что ты очень отстал в своем развитии.

И снова их разговор утерял мирный тон. В голосе Элиота появились резковатые нотки, когда он упрямо продолжал излагать содержание романа Килгора Траута под названием «О, скажи – чуешь ты?»<sup>[9]</sup>.

– В этой стране, – рассказывал Элиот, – было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Исследовательская работа велась на добровольные пожертвования, которые собирали матери семейств, по воскресеньям обходя дом за домом. В институтах ученые пытались найти идеальный химический состав для уничтожения каждого запаха. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым, и все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы.

– Ага, – сказал сенатор. Он ненавидел произведения Килгора Траута, и ему было стыдно за сына. – Наверное, он нашел универсальный состав, изничтожавший любой запах.

– О нет, – сказал Элиот. – Ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все носы.

Элиот мылся с ног до головы в ужасающе тесной уборной и, весь дрожа, отфыркивался и откашливался, шлепая себя смоченными бумажными полотенцами.

Смотреть на эту непристойную и нелепую процедуру сенатор никак не

мог. Он стал ходить по комнате. Двери в комнату не запирались, и сенатор потребовал, чтобы Элиот придвинул к ним полку с картотекой.

– Вдруг кто-нибудь войдет и увидит тебя голышом? – сказал он, на что Элиот ответил:

– Знаешь, отец, для здешних жителей я почти бесполое существо.

Раздумывая об этой неестественной бесполости и всяких других ненормальных проявлениях, огорченный сенатор машинально выдвинул верхний ящик картотеки. Там стояли три жестянки с пивом, валялись старые водительские права от 1948 года, выданные в штате Нью-Йорк, и незапечатанный и неотправленный конверт с парижским адресом Сильвии. В конверте лежали любовные стихи, которые Элиот написал для Сильвии два года назад.

Сенатор решил отбросить всякий стыд и прочесть стихи, надеясь найти там хоть что-нибудь в пользу Элиота. Но вот какие стихи он прочитал, и ему снова стало неудержимо стыдно:

Художник я в мечтах – ты это знаешь.  
А может быть, не знаешь. Да, – и скульптор.  
Тебя давным-давно здесь не видать,  
И это – как толчок моим рукам – играть  
С невидимым каким-то матерьялом  
И мысленно его, как глину, формовать.  
Наверное, ты очень удивишься,  
Узнав, что стал бы делать я с тобой:  
К примеру – будь я около тебя,  
Когда ты, лежа, этот стих читаешь,  
Я попросил бы: «Приоткрой живот», —  
Чтоб ногтем левого большого пальца  
Я мог бы провести черту в пять дюймов  
Над темным треугольником волос,  
А правым указательным коснуться  
Чудесной ямочки на животе  
И замереть, не отнимая рук,  
На полчаса, —  
А может быть, и дольше.  
Что, странно?  
Ну еще бы...

Сенатор был глубоко шокирован упоминанием о «темном треугольнике волос». Он сам видел очень мало голых людей, раз пять-шесть в жизни, и для него всякое упоминание о растительности на теле было самым неприличным, самым нецензурным выражением на свете.

Элиот уже вышел из уборной, голый, волосатый, вытираясь чайным полотенцем. Полотенце было новое, нестираное, на нем виднелся ярлычок с ценой. Сенатор окаменел от жуткого ощущения, что на него со всех сторон с непреодолимой силой хлынула чудовищная грязь, невыразимая непристойность.

Элиот ничего не замечал. В полной невинности он продолжал вытираться чайным полотенцем, потом швырнул его в корзину для мусора. Зазвонил черный телефон.

– Фонд Розуотера. Чем могу вам помочь?

– Мистер Розуотер, – сказал женский голос. – Сейчас по радио передавали про вас.

– Да ну? – Элиот машинально стал почесывать низ живота. Ничего предосудительного в этом не было. Он просто подергивал курчавую прядку волос, выпрямлял ее и отпускал, вытягивал и снова отпускал.

– Говорили, будто кто-то собирается доказать, что вы сумасшедший.

– Не беспокойтесь, дорогая моя. Близок локоть, да не укусишь.

– Ох, мистер Розуотер, если вы уедете и не вернетесь, мы тут все без вас умрем.

– Даю вам честное благородное слово, что я сюда вернусь. Верите мне?

– А вдруг они вас *не выпустят*?

– Вы думаете, что я и на самом деле сумасшедший?

– Да как вам сказать...

– Говорите что угодно!

– Я все время думаю – а вдруг люди решат, что вы сумасшедший, раз вы столько заботитесь о таких людях, как мы.

– А вы где-нибудь встречали людей, которым больше нужна забота, дорогая моя?

– Нет, я отсюда никогда не выезжала.

– А стоило бы посмотреть. Вот я вернусь и устрою вам поездку в Нью-Йорк, ладно?

– Господи, да вы же больше никогда не вернетесь.

– Я дал вам честное слово.

– Знаю, знаю. Все равно мы нутром чуем, это в воздухе носится – не вернетесь вы сюда, и все.

Элиоту попалась одна чудная волосинка. Он ее тянул-тянул, а она все не кончалась. Оказалось, что в ней чуть ли не фут длины. Элиот недоверчиво посмотрел на свой волосок, взглянул на отца, явно гордясь таким феноменом. Сенатор побагровел.

– Мы уж тут придумывали, как бы вас проводить получше, мистер Розуотер, – продолжал женский голос. – Хотели устроить парад с флагами, цветами, плакатами. Но ничего не выйдет. Очень мы все боимся.

– Чего?

– Не знаю, – сказала она и повесила трубку.

\* \* \*

Элиот натянул новые спортивные шорты. Как только он их надел, его отец мрачно буркнул:

– Элиот!

– Сэр? – Элиот с удовольствием растянул большими пальцами эластичный поясок шортов. – Здорово она держит, эта штука. Я совсем забыл, как здорово чувствовать *поддержку*.

Сенатор взорвался.

– За что ты меня *ненавидишь*? – заорал он.

Элиот был совершенно ошеломлен:

– Ненавижу тебя, отец? Что ты! Да я вообще не знаю ненависти!

– Почему же ты каждым своим словом, каждым жестом стараешься оскорбить меня?

– Вовсе нет!

– Понятия не имею, какое зло я тебе причинил, за что ты со мной теперь расплачиваешься, хотя, по-моему, ты уже отплатил мне сторицей.

Элиот был в ужасе:

– Отец, прошу тебя...

– Замолчи! Ты только будешь оскорблять меня без конца, а я больше не вынесу!

– Бога ради, отец! Я всегда тебя любил.

– Любил? – с горечью бросил сенатор. – Говоришь, ты меня любил? Да ты меня так любил, что разбил вдребезги все мои надежды, все мои идеалы. Скажешь, что ты и Сильвию любил, да?

Элиот заткнул уши.

Сенатор что-то кричал, брызгая слюной. И Элиот, не слыша слов, читал по губам страшную историю о том, как он загубил жизнь и разрушил

здоровье женщины, чьей единственной виной была любовь к нему, Элиоту.

Сенатор вылетел из комнаты, грохнув дверью.

Элиот разжал уши и стал одеваться, как будто ничего особенного не произошло. Он сел, чтобы зашнуровать башмаки. Завязав шнурки, он выпрямился. И вдруг весь окаменел, помертвел.

Зазвонил черный телефон. Элиот не снял трубку.

Что-то живое все-таки оставалось в Элиоте и заставляло его следить за стрелкой часов. За десять минут до того, как его автобус должен был подойти к закусочной, он вдруг ожил, осторожно сдул пушинку с костюма и вышел из своей конторы. Воспоминание о ссоре с отцом ушло куда-то в глубь сознания. Он шел легко и беззаботно, как Чаплин в роли праздного гуляки.

Он наклонился, чтобы погладить собак, прибежавших поздороваться с ним. Новый костюм его стеснял, пиджак резал под мышками, брюки – в шагу, подкладка шуршала при каждом движении, как газетная бумага, напоминая ему, до чего он вырядился.

В закусочной шел разговор. Элиот прислушался, не заходя туда. Голосов он не узнавал, хотя там сидели его знакомые. Трое мужчин с горечью беседовали о денежных делах. Говорили они медленно, потому что мысли приходили к ним почти с такими же перерывами, как деньги.

– Что ж, – сказал один из них, помолчав. – Бедность, конечно, не порок...

Это была первая половина старой-престарой остроты – ее любил повторять известный во всей округе шутник Кин Хаббард.

– ...Но большое свинство! – докончил за него другой.

Перейдя улицу, Элиот зашел в страховую контору начальника добровольной пожарной бригады Чарли Уормерграна. Чарли был человек благополучный и никогда не обращался за помощью в Фонд. Он был одним из семи жителей округа, которые по-настоящему преуспели благодаря системе свободного предпринимательства. Второй была Белла, владелица «Салона красоты». Оба они начали с нуля: оба выросли в семье железнодорожников. Чарли был на десять лет моложе Элиота. Росту в нем было шесть футов с лишним, плечи широкие, бедра узкие, и никакого живота. Кроме поста начальника пожарной дружины, он занимал должность федерального шерифа и инспектора мер и весов. Он также держал вместе с Беллой «Парижский магазин» – хорошенькую галантерейную лавочку в новом деловом квартале для богатых жителей Новой Амброзии. Как у всех героических личностей, и у Чарли был роковой порок. Он категорически отказывался верить, что заразился нехорошей болезнью, что, к сожалению, было правдой.

Известная всему городу личная секретарша Чарли ушла по делам. Кроме Чарли, Элиот застал в конторе еще одного человека – Ноиса Финнери, подметавшего пол. Ноис когда-то играл центра в бессмертной баскетбольной команде средней школы имени Ноя Розуотера. Эта команда не имела ни одного проигрыша в 1933 году. В 1934 году Ноис придушил свою шестнадцатилетнюю жену за постоянные измены и был осужден к пожизненному заключению. Теперь благодаря Элиоту он был взят на поруки. Ноису исполнился пятьдесят один год. Ни родных, ни друзей у него не было. Элиот совершенно случайно узнал о нем, просматривая старые номера «Розуотерского глашатая», и постарался взять его на поруки.

Ноис был человек молчаливый, циничный и обидчивый. Он ни разу не поблагодарил Элиота. Элиот не обижался и не удивлялся. Он привык к неблагодарности. В одном из его любимейших произведений – романе Килгора Траута – речь шла именно о неблагодарности. Назывался роман «Первый районный Благодарственный Суд». Каждый, кто считал себя обиженным, потому что его не поблагодарили как следует за какое-нибудь доброе дело, мог подать на неблагодарного в этот суд. Если ответчика признавали виновным, суд давал ему наказание на выбор: либо публично принести благодарность жалобщику, либо отсидеть месяц в одиночке на хлебе и воде. По словам Траута, восемьдесят процентов осужденных предпочитали посидеть в каталажке.

Ноис куда скорей, чем Чарли, заметил, что Элиот не в себе. Он перестал подметать и пристально вглядывался в лицо Элиота. Он очень подло за всеми подсматривал. Чарли, всегда восторженно вспоминавший, как доблестно они с Элиотом вели себя на пожарах, ничего не заметил, пока Элиот вдруг не стал поздравлять его с получением награды, которую тот на самом деле получил три года назад.

– Элиот, вы шутите, что ли?

– Почему это я вдруг стану над вами подшучивать? Я искренне считаю, что это большая честь.

Речь шла о медали имени Горацио Алджера, присужденной еще в 1962 году Чарли как лучшему Молодому Хужеру Республиканской Федерацией Клубов Молодых Дельцов-Консерваторов штата Индиана.

– Элиот... – жалобно сказал Чарли. – Да это же было три года назад.

– Неужели?

Чарли встал из-за стола.

– Мы еще сидели у вас в конторе и решили отослать эту дурацкую бляху обратно.



– Правда?

– Мы с вами вспомнили, откуда она взялась, эта медаль, и решили, что она – поцелуй смерти.

– Как же мы могли решить?

– Да *вы же сами* раскопали всю эту историю!

Элиот слегка нахмурился:

– Что-то забыл...

Нахмурился он только для проформы – ему было совершенно не важно, помнил он или нет.

– Они же выдавали эту штуку с 1945 года. Шестнадцать раз присуждали до того, как наградили меня. Неужели не помните?

– Нет.

– Из этих шестнадцати награжденных шестеро посажены за решетку по обвинению в мошенничестве или неуплате налогов, четверо должны были предстать перед судом за разные нарушения законов, двое подделали свои военные аттестаты, а одного казнили на электрическом стуле.

– Элиот, – спросил Чарли с нарастающим беспокойством. – Вы слышали, что я говорил?

– Да.

– А что я сказал?

– Забыл.

– Но вы только что сказали, что слышали?

Вдруг Ноис Финнерти заговорил:

– Да он ничего не слышит, у него в голове только щелк-щелк, и все. – Ноис подошел поближе к Элиоту, чтобы всмотреться в него как следует. Это было не сочувствие, а как бы клинический осмотр. И Элиот повел себя как при клиническом осмотре, как будто симпатичный доктор направил ему в глаза рефлекс, что-то проверяя.

– Только этот щелк он и слышит, понятно? Щелк-щелк, и все, поняли?

– Что ты плетешь, чертов сын? – спросил Чарли.

– В тюрьме привыкаешь слушать, щелкнуло или нет.

– Да мы же не в тюрьме.

– Это не только в тюрьме бывает. Но в тюрьме привыкаешь прислушиваться куда больше, тем более с годами. Чем дольше просидишь, тем зрение становится слабее, а слух острее. А главное – ждешь, когда щелкнет. Вот вы воображаете, что он вам – близкий человек? Нет, если бы вы с ним были по-настоящему люди близкие, хоть это вовсе не значит, что он был бы вам друг, просто вы *знали* бы его насквозь, вы бы за милую

слышали, как у него внутри что-то *щелкнуло*. Вот узнаешь человека насквозь, видишь, чувствуешь, что-то его мучает, а что именно, ты, может, так никогда и не узнаешь. Но от этого-то он и ведет себя так, он и выглядит так, да у него и в глазах что-то кроется, тайны какие-то, что ли. Ты ему скажешь: «Спокойно, спокойно, не надо, успокойся», или же спросишь: «Чего же ты опять глупостей наделал, разве не знаешь, что тебя все равно поймают, все равно попадешь в беду?» Скажешь, а сам знаешь, что зря говоришь, зря его уговариваешь, ты же сам понимаешь – сидит в нем то, что им командует. Оно ему скажет: «Прыгай!» – он и прыгнет, скажет «Воруй!» – он сворует, скажет: «Плачь!» – он заплачет. Конечно, может, он вдруг помрет молодым или жизнь у него пойдет, как он сам захочет. Тогда вся эта механика в нем постепенно кончится. А вот работаешь в тюремной прачечной рядом с человеком и вдруг услышишь, как в нем что-то щелкнуло. Обернешься к нему, смотришь – а он перестал работать. Стоит спокойно. Вид у него отупелый. Он весь затих. Заглянешь ему в глаза – а там ничего нет, никаких секретов. Он даже сразу не скажет, как его звать. Опять примется за работу, только он уже стал совсем другим, никогда прежним не будет. То, что у него внутри сидело, испортилось – завод остановился навсегда. Конец, *конец*. И весь тот кусок жизни, когда человек вытворял бог знает что, с ума сходил, – все это *кончилось*.

Сначала Ноис говорил медленно, бесстрастно, но к концу он весь вспотел от напряжения. Его руки побелели, мертвой хваткой сжимая рукоять метлы. И хотя весь его рассказ сводился к тому, как тихо и спокойно стал вести себя тот его сосед по тюремной прачечной, сам он никак не мог совладать с собой. Он нещадно, почти непристойно крутил ручку метлы и что-то бессвязно бормотал. «Все! Все!» – задыхаясь, шептал он, злобно пытаясь сломать ручку метлы. Он попробовал переложить ее через кольцо, зарычал на Чарли, хозяина метлы: «Не ломается, гадина, сукина дочь!»

– А ты, ублюдок, мать твою... – крикнул он вдруг Элиоту, – ты-то свое получил! – И стал осыпать его ругательствами, все еще пытаясь сломать метлу.

Он отшвырнул метлу.

– Не ломается, стерва, шлюха! – крикнул он и выскочил из конторы.

Элиот в полнейшем спокойствии наблюдал эту сцену. Он мягко спросил Чарли: почему этот человек так возненавидел метлы? И добавил, что ему, наверное, уже пора на автобус.

– А как... как вы себя чувствуете, Элиот?

- Отлично.
- Правда?
- Никогда в жизни я себя не чувствовал так хорошо. У меня такое чувство, будто... будто...
- Что?
- Будто в моей жизни начинается какая-то новая фаза...
- Должно быть, это приятно...
- Очень, очень!

В таком настроении Элиот прошелся до автобусной остановки у закусочной. На улице стояла непривычная тишина, словно в ожидании перестрелки, но Элиот ничего не заметил. Весь город был уверен, что он уезжает навсегда. И те, кто больше всех зависел от Элиота, яснее, чем пушечный выстрел, услышали, как в нем что-то *щелкнуло*.

В их слабых мозгах возникали какие-то сумасшедшие планы – надо бы достойно проводить его на прощание, устроить парад пожарников, шествие с плакатами, где надписи говорили бы все, что о нем надо было сказать, воздвигнуть что-то вроде триумфальной арки из пожарных шлангов, с бьющей из них струей. Но все эти планы пошли прахом. Некому было организовать все это, некому руководить. Почти всех до того обескуражила мысль об отъезде Элиота, что ни сил, ни энергии не хватило даже на то, чтобы, стоя где-то в толпе, грустно помахать рукой на прощание. Они знали, по какой улице он пройдет. И они нарочно туда не шли.

Элиот перешел с тротуара, залитого полуденным солнцем, в сыроватую тень Парфенона, у самого канала. Бывший пыльщик, с виду ровесник сенатора, ловил в канале рыбу бамбуковой удочкой. Он сидел на складном стульчике, между его высокими сапогами стоял транзисторный приемник. По радио передавали песню про «старика-реку» Миссисипи. Голос пел: «Черный работает, белый гуляет...»

Старик не был ни пьяницей, ни распутником, вообще безо всяких странностей. Он был просто очень стар, вдов и болен раком в последней стадии, а его сын, служивший в авиации, ему не писал. Вообще он был человек незаметный. Пить он не мог. Фонд Розуотера давал ему деньги на морфий, по рецепту врача.

Элиот поздоровался с ним, но не мог вспомнить ни его имени, ни чем он страдает. Элиот глубоко вздохнул – в такой хороший денек не стоило вспоминать о грустных вещах.

В конце длинной стены Парфенона стоял небольшой киоск, где

продавали шнурки для ботинок, бритвенные лезвия, безалкогольные напитки и журнал «Американский следопыт». Киоском ведал человек по имени Линкольн Эвальд, который во время Второй мировой войны был яростным приверженцем нацистов. С начала войны Эвальд завел коротковолновый радиопередатчик, чтобы сообщать немцам, какие изделия ежедневно выпускает Розуотерский пилотавод, а выпускали там ножи для парашютистов и броневую сталь. И хотя немцы ни о каких сообщениях Эвальда не просили, он в первой же передаче заявил, что если они разбомбят город Розуотер, то вся американская экономика разрушится и погибнет. Никаких денег за свои сообщения он не просил. Он презирал деньги и говорил, что ненавидит Америку именно за то, что тут деньги – царь и Бог. Просил он только, чтобы ему простой бандеролью прислали Железный крест.

Его передачу ясно и четко услышали по своим приемникам два обходчика, охранявшие государственный заповедник в сорока двух милях от Розуотера. Сторожа уведомили Федеральное бюро расследований, и Эвальда нашли по адресу, который он дал немцам для посылки Железного креста, и он был арестован и до окончания войны помещен в психиатрическую лечебницу.

Фонд Розуотера почти ничего для него не делал, Элиот только выслушивал его разговоры о политике, чего никто другой делать не желал. Кроме того, Фонд приобрел для него набор пластинок с уроками немецкого языка и дешевый проигрыватель. Эвальду очень хотелось научиться немецкому, но он все время был слишком зол и возбужден.

Элиот не помнил имени Эвальда и чуть было не прошел мимо него. Маленький мрачный киоск, похожий на нору прокаженного, легко было не заметить в тени руин великой цивилизации.

– Хайль Гитлер! – хрипло каркнул Эвальд.

Элиот остановился, приветливо посмотрел в ту сторону, откуда прозвучало приветствие. Весь киоск Эвальда был сплошь занавешен номерами журнала «Американский следопыт». Издали казалось, что этот «занавес» разукрашен круглыми горошинами. Это были пупки обнаженной красоти, Рэнди Геральд, смотревшей со всех разворотов журнала. И везде повторялся ее призыв – найти для нее мужчину, от которого она могла бы иметь гениального ребенка.

– Хайль Гитлер! – повторил Эвальд из-за журнальной занавеси.

– И вам тоже хайль гитлер, сэр! – улыбнулся Элиот. – Прощайте!

Солнце варварски ударило в глаза Элиоту, когда он вышел из-под тени Парфенона. Его сразу ослепило, и двое лентяев, сидевших на ступеньках

суда, показались ему обугленными фигурами в облаках пара. Он услышал, как Белла в своем «Салоне красоты» отчитывает какую-то даму за то, что та не делает маникюра.

Элиот никого не повстречал, хотя заметил, что кто-то подглядывает за ним из-за занавешенного окна. Он кивнул и помахал рукой неизвестно кому. Подойдя к школе имени Ноя Розуотера, закрытой на все лето, он остановился у флагштока, и его охватила неясная легкая грусть. Он меланхолично прислушался к глухому гулу внутри полого флагштока, когда железка на тросе, с которой был снят флаг, раскачиваясь от легкого ветерка, ритмично ударяла по флагштоку, рождая в нем унылый гулкий отзвук.

Элиоту хотелось с кем-нибудь поделиться впечатлением от этих звуков, хотелось, чтобы кто-то вместе с ним их послушал. Но рядом никого не было, кроме собаки, провожавшей его, и он заговорил с собакой:

– Слышишь, какой это *американский* звук? Школа закрыта, занятия кончились, понимаешь? И флаг спустили. Такой грустный, такой *американский* звук. И слушать его надо бы на закате, когда поднимается вечерний ветерок и все люди на свете садятся за ужин...

Он почувствовал комок в горле. Ему было хорошо.

Когда Элиот проходил мимо заправочной станции, из-за бензоколонок вынырнул молодой человек. Звали его Роланд Барри, и свихнулся он через десять минут после того, как его привели к присяге в форте имени Бенджамена Гаррисона. Ему назначили пенсию как полному инвалиду. Спятил он в ту минуту, как получил приказ – принять душ вместе с сотней других, совершенно голых ребят. Инвалидность у него была нешуточная. Роланд мог разговаривать только шепотом. Целыми днями он сидел около бензоколонок, притворяясь, что занят каким-то делом.

– Мистер Розуотер! – просипел он.

Элиот улыбнулся, протянул ему руку.

– Извините, пожалуйста, забыл ваше имя!

Но Роланд настолько не уважал себя, что ничуть не удивился, почему его забыл человек, к которому он в течение целого года забегал по крайней мере раз в день.

– Хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь...

– За что?

– За жизнь, мистер Розуотер. Вы мне жизнь спасли, хотя она, может, того и не стоит.

– Что-то вы преувеличиваете, право!

– Вы один не смеялись надо мной после того, как со мной такое

случилось. Может, вы и над стихами не будете смеяться. – И он сунул Элиоту в руку листок бумаги. – Я плакал, когда писал. Вот до чего они смешные. Вот до чего мне все смешно! – прошептал он и убежал.

Элиот растерянно прочел стихи. Вот они:

Колокола, волны,  
Море, трели,  
Реки, рояли,  
Ручьи, свирели.  
Водопады, гобои,  
Пруды, тромбоны,  
Лагуны, флейты,  
Озера, звоны.

Ты музыку слушай!  
Упивайся водой,  
Нам, бедным ягнятам,  
Идти на убой.  
Я люблю вас, Элиот,  
Я плачу... Прощай!  
Слезы и скрипки,  
Сердца и цветы,  
Цветы и слезы,  
Розуотер, прости!

До закуской у остановки автобуса Элиот дошел безо всяких приключений. Там сидел хозяин и одна посетительница. Это была четырнадцатилетняя красотка, беременная от своего отчима, причем этот отчим уже сидел в тюрьме. Фонд Розуотера оплачивал врачей, следивших за ее здоровьем; тот же Фонд сообщил полиции о преступлении отчима, а впоследствии нанял лучшего адвоката в штате Индиана, защищавшего его на суде.

Девочку звали Тони Уэйнрайт. Когда она пришла жаловаться Элиоту, он спросил, как она себя чувствует.

– Как сказать, – ответила она. – Не так уж мне плохо. Вроде как в кино снялась – все меня знают.

Сейчас она пила кока-колу и читала журнал «Американский следопыт». Она кинула на Элиота быстрый взгляд, но больше на него ни

разу не посмотрела.

– Один билет до Индианаполиса, пожалуйста.

– Только туда или туда и обратно, Элиот?

Элиот решительно сказал:

– Нет, только туда.

Тони чуть не опрокинула стакан, но вовремя подхватила его.

– Один билет до Индианаполиса! – громко повторил хозяин. – Прошу вас, сэр! – Он сердито проштамповал билет, вручил Элиоту и резко отвернулся. Больше и он на Элиота ни разу не взглянул.

Элиот никак не почувствовал возникшего напряжения. Он подошел к журнальной и книжной стойке – поискать, что ему взять почитать в дорогу. Его заинтересовал «Следопыт», он перелистал журнал, прочитал сообщение о том, как в 1934 году в Йеллоустонском заповеднике медведь отгрыз голову семилетней девочке. Элиот положил журнал на место и взял дешевенькую книжку Килгора Траута «Трехлетний отпуск из Пангалактики».

Вдали глухо пробурчал гудок автобуса.

Когда Элиот садился в автобус, появилась Диана Луун-Ламперс. Она плакала. В руках у нее был белый телефон марки «Принцесса». Оборванный шнур волочился по земле.

– Мистер Розуотер! – всхлипнула она. И вдруг грохнула телефон оземь, у самого входа в автобус. – Не нужен мне телефон. Больше звонить некому, больше мне никто не позвонит!

Элиоту стало жаль ее, но он не понял, кто она такая.

– Виноват, не совсем понимаю!

– Как? Да это же я, мистер Розуотер! Это я, Диана. Диана Луун-Ламперс!

– Рад познакомиться.

– *Познакомиться?* Со мной?

– Да-да, вот *именно*, только... только я не совсем понял – при чем тут телефон?

– Да вы же *единственный* человек, кому я звонила.

– Как же так? – с недоумением спросил он. – У вас, наверное, есть много других знакомых?

– Ах, мистер Розуотер! – зарыдала она, припав к дверце автобуса. – Вы же мой *единственный* друг!

– Ну, вы еще много друзей заведете! – обнадежил ее Элиот.

– Ох, Господи! – всхлипнула она.  
– Может быть, вам примкнуть к какой-нибудь церкви?  
– *Вы* моя церковь! *Вы* мое все! *Вы* мое правительство! *Вы* мой супруг!  
Вы – все мои друзья!

Такая ответственность несколько озадачила Элиота.

– Право, это очень любезно с вашей стороны. Желаю вам всего хорошего! А мне пора ехать, честное слово! – И он помахал ей рукой. – Прощайте!

Элиот сел в автобус и стал читать «Трехдневный отпуск из Пангалактики». Около автобуса поднялась какая-то суeta, но Элиот не подозревал, что это имеет к нему отношение. Он так увлекся книгой, что даже не заметил, когда автобус тронулся. Книга была поистине захватывающей – в ней шел рассказ об участнике космической экспедиции, работавшей уже в космическом веке. Героя звали сержант Раймонд Бойль. Экспедиция уже долетела до самого конца Вселенной, до ее предела. Выяснилось, что за местом, где они находились, абсолютно ничего не было, и сейчас экспедиция налаживала сигнальную систему, чтобы попытаться принять хоть какие-нибудь, хотя бы самые слабые сигналы из этой черной бархатной пустоты.

Сержант Бойль был родом с Земли. Он был единственным землянином в экспедиции. Точнее говоря, он был единственным существом с Млечного Пути. Все остальные члены экспедиции были набраны откуда попало. Экспедиция была организована совместными усилиями примерно двухсот галактик. Бойль не занимался техникой. Он был преподавателем английского языка. Дело было в том, что во всей известной ученым Вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно.

Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более *продуктивным*. Умение говорить делало их куда более *активными*. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, *мыслить*, планировать.

Бойля вызвали с занятий английским языком к командующему



экспедицией. Он недоумевал, зачем его вызывают. Он зашел в штаб командира экспедиции, отдал честь старику. Впрочем, командир никак не походил на обыкновенного старика. Он был родом с планеты *Тральфамадор* и ростом с земную жестянку из-под пива. Но с виду он и на жестянку не походил. Больше всего он был похож на «прокачку» – лучшего друга водопроводчиков.

Командир был не один. Тут же присутствовал капеллан экспедиции. Патер был родом с планеты Глинко-Х-3, он был похож на огромного осьминога на колесиках и плавал в бассейне с серной кислотой. Вид у него был мрачный. Очевидно, стряслось что-то страшное.

Капеллан сказал Бойлю:

– Будьте мужественны!

Командир сказал, что пришли плохие вести. Командир сказал, что гибель посетила дом, и ему, Бойлю, дают внеочередной отпуск на три дня, и что он должен отбыть немедленно.

– Кто погиб? Мама? – Бойль с трудом удерживался от слез. – Или папа? Может быть, Нэнси! (Так звали его девушку, соседку.) Или дедушка?

– Крепись, сынок, – сказал командир. – Страшно вымолвить... Дело не в том, кто погиб. Дело в том, *что* погибло.

– А что погибло?

– Млечный Путь погиб, мой мальчик, – сказал командир.

Элиот поднял глаза от книги. Округ Розуотер все отдалялся и отдалялся. Он о нем уже не помнил.

На остановке в Нэшвиле, центре округа Браун, в штате Индиана, Элиот взглянул в окно и стал внимательно разглядывать стоявшие поблизости пожарные машины. Он мельком подумал, не подарить ли нэшвилским пожарным хорошее новое оборудование, но решил, что не стоит. Наверное, им не справиться с современной техникой.

В Нэшвиле процветали всякие художественные ремесла, и ничего странного не было в том, что в мастерской стеклодува Элиот увидал, как изготавливались елочные украшения, хотя стоял июнь.

Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Элиот в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево – над городом бушевал огненный смерч. Элиот был поражен – он никогда не видел такого пламени, хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне.

Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу, и для самого Элиота было тайной – почему он так ее прятал, почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика, почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги. Он чувствовал себя как слабовольный пуританин, которому попала в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Элиота и намек на эротику не было. Называлась книга «Бомбардировка Германии». Написал ее Ганс Румпф.

Одну главу Элиот, с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден.

«Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся столб раскаленного воздуха, высотой около трех миль и диаметром мили в полторы... Столб завертелся вихрем – снизу шли потоки холодного воздуха, от чего этот вихрь усиливался. В полутора милях от пожаров скорость ветра возросла с одиннадцати до тридцати трех миль в час. По периферии смерча скорость ветра, по-видимому, была больше, так как ветер с корнем вырывал деревья футов до трех в обхвате. Вскорости воздух накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла, то есть и следов от горючих материалов не оставалось, только через два дня температура пожарища снизилась настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району».

Приподнявшись в кресле автобуса, Элиот смотрел на огненный смерч, пожиривший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба в восемь миль диаметром и по меньшей мере миль пятьдесят в высоту.

Столб пламени словно был отлит из стекла, настолько явственно и неподвижно встал он над городом. Внутри его крупинки раскаленной докрасна золы торжественно и плавно кружились вокруг ослепительно-белой сердцевины. И ее белизна казалась священной.

Перед глазами Элиота все стало черным-черно, как тьма за пределами Вселенной. Очнулся он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Солнце пригревало его, просвечивая сквозь ветви платана. На платане пела птичка. «*Пьюти-фьют?* – спрашивала она. – *Пьюти-фьют, фью, фью?*» Сад был окружен высокой каменной стеной – и Элиот узнал этот сад. Тут он не раз навещал Сильвию. В саду находилась частная нервная клиника доктора Брауна в Индианаполисе, и много лет назад он привез сюда Сильвию. На каменном барьере фонтана было высечено следующее изречение:

«ВСЕГДА ПРИТВОРЯЙСЯ ХОРОШИМ – ОБМАНЕШЬ ДАЖЕ САМОГО ГОСПОДА БОГА».

Элиот увидел, что его нарядили в ослепительно-белый теннисный костюм и что ему, словно манекену в витрине, даже положили на колени теннисную ракетку. Он крепко сжал рукоятку ракетки, хотелось проверить, существует ли она, существует ли он сам. Он следил, как в сложном переплетении заиграли мышцы предплечья, почувствовал, что он не просто теннисист, но и очень хороший игрок. Он сразу понял, где он играет в теннис: к одной стороне садовой ограды примыкал теннисный корт, и сетка вокруг площадки была увита повиликой и душистым горошком.

– *Пьюти-фьют?*

Элиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Элиот принял эту мысль совершенно спокойно.

Он все еще не спускал глаз с птички. Хорошо бы стать такой птахой, взлететь на самую верхушку дерева и никогда не спускаться вниз. Ему хотелось взобраться повыше, потому что тут, на уровне земли, происходило что-то не очень ему приятное. Четверо мужчин в строгих темных костюмах сидели на короткой каменной скамье всего футах в шести от него. Они пристально смотрели на Элиота, как бы выжидая, чтобы он сообщил им что-то очень важное. Но Элиот чувствовал, что ничего важного он ни сказать, ни сделать для них не может.

Заболели мускулы на шее. Неужто он из-за них должен век сидеть, задрав голову?

– Элиот...

– Сэр? – Элиот понял, что с ним говорит его отец. И он стал постепенно переводить взгляд с ветки на ветку – так раненые птицы медленно слетают вниз, – и наконец его глаза встретились с глазами отца.

– Ты, кажется, хотел сообщить нам что-то важное? – спросил отец.

Элиот видел, что на скамье сидят четверо мужчин – трое старых и один молодой, все они сочувственно смотрят на него и напряженно прислушиваются – не захочет ли он сообщить им что-нибудь. В молодом человеке Элиот узнал доктора Брауна. Второй старик был Мак-Алистер, адвокат их семьи. Третьего старика Элиот раньше не встречал, но, как ни странно, его это ничуть не смутило, потому что у незнакомца, похожего на славного сельского гробовщика, было такое доброе лицо, что он показался Элиоту старым другом.

– Вы не находите слов? – подсказал доктор Браун. В голосе врача звучало беспокойство, он подвинулся поближе, готовясь помочь Элиоту найти эти слова.

– Не нахожу слов, – подтвердил Элиот.

– Что ж, – сказал сенатор. – Если ты не можешь выразить свои мысли словами, значит, никак нельзя привести эти мысли на суде в доказательство твоей нормальности.

Элиот кивнул в знак согласия.

– А разве я... я уже *пытался* найти слова и что-то вам сказать? – спросил он.

– Ты просто заявил, что тебя только что осенила идея, каким образом навести порядок во всей этой неразберихе, без шума, честно и справедливо. Потом замолчал и уставился на дерево.

– Угу... – сказал Элиот. Он как будто силился припомнить, потом пожал плечами: – Ничего не помню, совсем вылетело из головы.

Сенатор хлопнул в ладоши – руки у него были старые и пятнистые.

– Нам теперь хороших идей не занимать, и сами придумаем, как одолеть все препятствия. – Он победоносно осклабился, хлопнул мистера Мак-Алистера по колену: – Верно? – Просунув руки за спину Мак-Алистера, он потрепал незнакомца по спине: – Верно? – Очевидно, он был просто влюблен в этого человека. – Тут на нашей стороне целый мозговой трест, лучше его планов ничего не найти! – Он захихикал, видно, он был в восторге от всех этих планов.

Сенатор широко раскрыл руки.

– Смотрите на моего сына – *вот* вам лучший аргумент в нашу пользу,

смотрите, как он выглядит, как держится, такой подтянутый, такой складный! Он сам – наш козырь номер один! – Глаза у старика заблестели. – Сколько он потерял в весе, доктор?

– Около двадцати килограммов.

– Снова в прежней спортивной форме! – восхитился сенатор. – Ни грамма лишнего! А какой теннисист! Пощады не жди! – Сенатор вскочил, нелепо замахал рукой, изображая теннисную подачу. – Никогда в жизни я не видал такой игры, как на этом корте час назад! Ты его *угробил*, Элиот!

– Гм-мм... – сказал Элиот. Он посмотрел по сторонам – хотелось взглянуть на себя в зеркало или хотя бы на свое отражение в воде. Он понятия не имел, как он выглядит. Но фонтан совсем высох. Только посреди бассейна, в чаше, служившей птицам купальней, осталась мутная лужица – от нее шел горький запах прелых листьев и сажи.

– Вы, кажется, сказали, что Элиот обыграл профессионала? – спросил сенатор доктора Брауна.

– Да, тот играл много лет.

– Элиот его *изничтожил*! А каким победителем он подлетел к нам, с корта, пожать нам руки, право, мне хотелось и смеяться и плакать. И этот человек, подумал я, должен будет завтра доказывать, что он не сумасшедший! Хо-хо!

Поняв, что все эти четверо не считают его больным, Элиот совсем расхрабрился, встал, словно хотел поразмяться. На самом же деле хотелось подобраться поближе к воде в птичьей купальне. Как бы подтверждая свою репутацию отличного спортсмена, он легко перепрыгнул через каменный барьер в бассейн, сделал глубокое приседание, словно радуясь избытку сил. Мускулы повиновались ему отлично, он весь был как стальная пружина.

При резком рывке Элиот почувствовал, что у него в заднем кармане лежит какой-то пакет. Он вытащил его – оказалось, что это свернутый в трубку номер «Американского следопыта». Элиот развернул журнал – наверное, там красовалось то же фото Рэнди Геральд, умоляющей найти ей производителя, от чьего семени родится гениальный отпрыск. Но вместо Рэнди он увидел свой собственный портрет, в пожарной каске. Это была увеличенная фотография с группового снимка всей пожарной дружины на параде четвертого июля.

Надпись внизу гласила:

«САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ?»  
(см. на развороте)».

Элиот разглядывал журнал, пока остальные в чрезвычайно оптимистическом тоне обсуждали, как пройдет завтрашняя судебная экспертиза. На развороте Элиот нашел еще одну свою фотографию. Это был не очень ясный снимок – Элиот, играющий в теннис на корте лечебницы.

С противоположной страницы на его игру с оскорбленным видом смотрело все благородное семейство Фреда Розуотера. У них был вид сезонников, батраков. Фред тоже очень исхудал. Была там и фотография их адвоката, Нормана Мушари. Норман, работавший теперь самостоятельно, обзавелся изысканным жилетом и золотой цепочкой для часов. Дальше цитировались его слова: «Мои клиенты желают только одного – вернуть себе и своим потомкам наследие, положенное им по рождению и по закону. Кичливые плутократы из Индианы истратили миллионы долларов, заручились помощью влиятельнейших друзей по всей стране, лишь бы не дать своим родичам довести дело до суда. Семь раз, под всякими пустячными предложениями, откладывалась судебная экспертиза, а тем временем Элиот Розуотер без конца играет в теннис на корте психиатрической лечебницы, а его приспешники трубят во все концы, что он совершенно здоров.

Если мои клиенты проиграют дело, они потеряют свой скромный домик, свою нехитрую обстановку, свой подержанный автомобиль, маленькую яхту своего сынишки, страховой полис Фреда Розуотера, все свои сбережения и тысячи долларов, взятых в долг у преданного друга. Эти прямодушные, простые люди – рядовые американцы – поставили все, что имели, на свою веру в американское правосудие, и оно не должно, не может, не смеет их подвести!»

Рядом с фото Элиота были напечатаны две фотографии Сильвии. На первой, давнишней, она танцевала твист со знаменитым Питером Лоуфордом. На второй, совсем новой, она входила под своды женского монастыря в Бельгии, где строго соблюдался обет молчания.

Элиот, вероятно, задумался бы над тем, какой необычной с начала до конца была судьба Сильвии, если бы вдруг не услышал, как отец ласково окликнул пожилого незнакомца:

– Мистер Траут!

– Траут! – крикнул Элиот. Он так изумился, что чуть не потерял равновесия, и ухватился за край чаши, чтобы не упасть. Птичья купальня была так неустойчива, что стала крениться, и Элиот бросил журнал и обеими руками вцепился в чашу, удерживая ее на подставке. И тут увидел свое отражение в воде. На него лихорадочным взглядом уставился

исхудалый старообразный подросток.

«Бог мой! – подумал Элиот. – Вылитый Ф. Скотт Фицджеральд за день до смерти!»

Элиот предусмотрительно удержался и не окликнул Траута еще раз; он понимал, что может себя выдать, что все увидят, как он болен, потому что они с Траутом, очевидно, познакомились давно, когда Элиот был еще в полном беспамятстве.

Не узнал его Элиот и по той простой причине, что на всех книжных обложках Траут был изображен с бородой. У незнакомца бороды не было.

– Уверяю тебя, Элиот, – сказал сенатор, – когда ты попросил меня пригласить сюда Траута, я пожаловался твоему врачу, что ты все еще не в своем уме. Ты говорил, что Траут может разъяснить смысл твоей деятельности в Розуотере. Я готов был попробовать что угодно и вызвать его сюда, и ничего умнее я еще никогда в жизни не сделал!

– Правильно, – сказал Элиот, осторожно усаживаясь на край бассейна. Он поднял упавший журнал. Складывая его, он впервые прочитал дату на обложке. Он спокойно подсчитал, сколько времени прошло. Каким-то образом он где-то потерял целый год.

– Ты только говори то, что тебе подскажет мистер Траут, – приказал сенатор, – постарайся выглядеть таким, как сейчас, и я не вижу никаких оснований, чтобы мы проиграли дело.

– Конечно, я буду говорить все, что мне подскажет мистер Траут, и, разумеется, ни единой детали этого маскарада не изменю. Но я бы попросил еще разок повторить, что именно велит мне сказать мистер Траут.

– Все очень просто, – сказал Траут. Голос у него был глубокий, звучный.

– Да вы же столько раз все повторяли, – сказал сенатор.

– И все-таки, – сказал Элиот, – хотелось бы послушать еще разок.

– Так вот. – Траут потер руки, посмотрел на свои ладони. – Всю вашу деятельность в Розуотере никак нельзя назвать безумием. Наоборот, можно сказать, что это был один из самых значительных для нашего времени социальных экспериментов, так как вы, правда, в очень ограниченном масштабе, пытались разрешить проблему, которая, несомненно, встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так: «Каким образом проявлять любовь к лишним людям?» Со временем все люди – и мужчины и женщины – станут ненужными в производстве всех материальных

ценностей – любых вещей, пищи, машин, ненужными даже как источник развития новых идей в экономике, инженерии и в медицине. И тогда, если мы не найдем оснований беречь людей хотя бы за то, что они *люди*, почему бы не начать просто уничтожать их, что уже предлагалось не раз?

Американцев издавна приучали ненавидеть тех, кто не может или не хочет работать, ненавидеть за это даже самих себя. Это – наследие наших предков-первопоселенцев, и здравый смысл оправдывал эту необходимую тогда жестокость. Но придет время – и оно уже надвигается, – когда никакой здравый смысл не оправдывает эту ненужную жестокость.

– Нет, все-таки, если у бедного человека есть хватка, он и сейчас может выбраться из болота. Этот закон еще сохранится тысячу лет, – перебил Траута сенатор.

– Вполне возможно, – согласился Траут. – Человек с настоящей хваткой может добиться, чтобы его наследники жили в «Утопии», подобной Писконтьюту, где застой в душах, глупость, бесчувственность и тупость пагубнее любой эпидемии в округе Розуотер. Бедность – сравнительно легкое заболевание, даже для слабой американской душонки, а вот сознание своей бесполезности, ненужности может убить как слабых, так и сильных душой. Значит, надо найти лекарство.

Совершенно нормально и то, что вы, Элиот, так заинтересованы в организации добровольных пожарных дружин. Ведь при первом сигнале тревоги они проявляют такую самоотверженность, какой, пожалуй, нигде больше у нас в стране не найти. Они сразу бросаются спасать людей, не считаясь ни с какими затратами. И если у самого презренного, самого жалкого человека в городе загорится его жалкий скарб, он увидит, как даже его враги бросаются тушить пожар. А когда он станет ворошить головешки в надежде найти хоть что-нибудь из жалкого своего имущества, ему посочувствует и попытается утешить лично сам начальник пожарной дружины.

Траут широко развел руками:

– Вот вам люди, которые оберегают других людей только потому, что те – тоже люди. А это редкий случай. Вот у кого мы должны учиться.

– Замечательный вы человек, ей-богу! – похвалил Траута сенатор. – Вам бы заведовать отделом внешних связей в какой-нибудь компании! Вы сумели бы кого угодно уговорить, доказать, скажем, что столбняк полезен для общественного блага. Ну что такому человеку делать в бюро по приему премиальных талончиков?

– Гасить талончики, – мягко сказал Траут.

– Мистер Траут, – спросил Элиот, – а где ваша борода?



- Вы же первым делом спросили меня про бороду.
- Ну, расскажите еще раз.
- Я голодал, совсем упал духом. Приятель сказал, что есть работа. Я сбрил бороду, пошел в это бюро, и меня взяли на работу.
- Пожалуй, вас не взяли бы с такой бородой.
- Я бы все равно ее сбрил, даже если бы меня и взяли.
- Почему?
- Подумайте, какое кошунство – с лицом Спасителя гасить талончики!
- Век бы вас слушал, мистер Траут! – сказал сенатор.
- Спасибо...
- Только перестаньте утверждать, что вы – социалист! Наоборот, вы – за свободное предпринимательство!
- Против воли, уверяю вас!

Элиот внимательно прислушивался к разговору двух стариков – каждый был по-своему интересен ему. Он подумал, что на месте Траута мог бы обидеться, когда сенатор сказал, что из него вышел бы хороший агент по рекламе, то есть отъявленный лгун, но Траута это ничуть не задело. Трауту, очевидно, сам сенатор доставлял удовольствие, как законченное и полноценное произведение искусства, и спорить с ним, не соглашаться с какими бы то ни было его утверждениями он никак не собирался. А сенатор восхищался, как этот пройдоха Траут умеет хитро подвести рациональную базу под что угодно; он не понимал, что Траут всегда говорит чистую правду.

– Какую отличную политическую программу вы могли бы написать, мистер Траут!

– Благодарствуйте!

– Адвокаты тоже умеют так рассуждать, придумывать выход из самых запутанных положений. Но их доказательства всегда звучат фальшиво. Все равно как если бы увертюру «1812 год» сыграть на сопелке.

Сенатор уселся поудобнее, расплылся в улыбке: – Ну-ка расскажи нам, какие еще чудеса творил там Элиот с пьяных глаз.

– Но суд непременно начнет выяснять, что Элиот *узнал* из своих экспериментов, что он узнал для себя, – сказал Мак-Алистер.

– Узнал, что надо бросить пить, надо помнить, кто ты такой, и вести себя соответственно! – решительно заявил сенатор. – А главное, не разыгрывать перед этими людьми Господа Бога, не то они сначала обшлуживают тебя с ног до головы, вытянут все, что можно, начнут нарушать все десять заповедей и радоваться, что им отпускают все грехи, а после твоего отъезда станут поносить тебя вовсю.

Элиот не выдержал:

– *Меня* поносят?

– А-а, черт их дери, они и любят тебя и ненавидят, плачут по тебе и смеются над тобой, а главное – каждый день выдумывают про тебя новые враки. Мечутся, как куры с отрубленной головой, как будто ты и впрямь был у них за Господа Бога и вдруг бросил их на произвол судьбы.

У Элиота заняло сердце, и он понял, что больше никогда в жизни не вернется в округ Розуотер.

– А мне кажется, – сказал Траут, – что Элиот узнал, как людям нужна безоговорочная любовь.

– Разве это ново? – буркнул сенатор.

– Да, мы впервые увидели, как один человек многим людям долго, бескорыстно и безоговорочно отдавал свою любовь. А если на это способен один человек, почему бы другим не взять с него пример? А тогда в их душах исчезнет ненависть к бесполезным, никчемным людям, исчезнет та жестокость, которую мы к ним проявляем якобы ради их собственного блага. Благодаря примеру Элиота Розуотера миллионы миллионов, быть может, научатся любить ближних, помогать всем, кому так нужна помощь.

Траут посмотрел в глаза своим собеседникам, прежде чем вымолвить последнее слово – вот что он сказал напоследок:

– И это – радость!

– *Пьют-фьют!*

Элиот снова посмотрел вверх на дерево, соображая, что же он все-таки думает про округ Розуотер и как он умудрился растерять все свои мысли там, в ветвях платана...

– Был бы у него ребенок, – сказал сенатор.

– Что ж, если вам *действительно* нужны внуки, – посмеиваясь сказал Мак-Алистер, – можете выбрать любого – по последним подсчетам, их пятьдесят семь штук!

Все смеялись, только Элиот спросил:

– От кого это пятьдесят семь внуков?

– От тебя, мой мальчик, – засмеялся сенатор.

– Что?

– Твои грешки!

Элиот чувствовал, что тут кроется какая-то очень существенная тайна, и, рискуя выдать себя, показать, как серьезно он болен, все же сказал:

– Ничего не понимаю!

– Пятьдесят семь женщин в Розуотере утверждают, что ты – отец их

ребенка.

– Но это дикий бред!

– Еще бы! – сказал сенатор.

Элиот взволнованно встал с места:

– Это... это немыслимо!

– У тебя такой вид, будто ты впервые об этом услышал, – сказал сенатор и мельком, с тревогой взглянул на доктора Брауна.

Элиот прикрыл глаза рукой:

– Простите, мне кажется, что именно тут у меня какой-то абсолютный провал в памяти!

– Тебе нездоровится, сынок!

– Нет, – сказал Элиот. Он отвел руку от глаз. – Я чувствую себя хорошо. Вот только в одном память мне изменила; пожалуйста, подскажите, как все эти женщины вдруг придумали про меня такую чепуху?

– Доказать это трудно, – сказал Мак-Алистер. – Но мы знаем, что Мушари разъезжал по всему округу, подкупал людей, чтобы они говорили про вас всякие пакости. Про детей начала говорить Мэри Моды. После того как Мушари побывал в городе, она стала всем рассказывать, что вы – отец ее близнецов, Фоксacroфта и Мелоди. И тут началась настоящая эпидемия среди женщин.

Килгор Траут утвердительно кивнул:

– Именно эпидемия.

– Вот женщины по всему округу и стали утверждать, что дети у них – от вас. Из них по крайней мере половина сами поверили, что это правда. Одна пятнадцатилетняя девчонка, чей отчим сидит в тюрьме за то, что он ее обрюхатил, теперь уверяет, что ребенок у нее – от вас.

– Но это ложь!

– Конечно, конечно, это ложь, Элиот! – сказал его отец. – Успокойся, пожалуйста! Мушари не посмеет сказать об этом на суде. Вся его затея давно рухнула. Этого ни один судья не станет слушать – настолько очевидно, что это бред. Мы даже проверили группу крови у близнецов – они ни в коем случае не могут быть твоими детьми. А у остальных психопаток мы ничего и проверять не станем. Ну их всех к черту!

– *Пьюти-фьют...*

Элиот взглянул на дерево – и вдруг в памяти возникло все, что до сих пор скрывалось в черном провале: драка с водителем автобуса, смиренная рубашка, лечение электрошоком, покушение на

самоубийство, теннис и вся сложная стратегия подготовки к судебной экспертизе.

И в обрушившемся на него потоке воспоминаний вдруг возникла идея – как немедленно все уладить, достойно и справедливо.

– Скажите откровенно, – начал он. – Можете ли вы все присягнуть, что я вполне нормален?

Все с жаром ответили утвердительно.

– И я по-прежнему являюсь главой Фонда Розуотера? По-прежнему имею право выписывать чеки из Фонда?

Мак-Алистер подтвердил, что он, разумеется, имеет такое право.

– А каков наш баланс на сегодняшний день?

– Весь год вы ничего не тратили, кроме гонорара адвокатам, оплаты вашего пребывания в лечебнице, тех трехсот тысяч долларов, что вы ежегодно посылаете Гарвардскому университету, и тех пятидесяти тысяч, что вы дали мистеру Трауту.

– И при этом он истратил в этом году больше, чем в прошлом, – заметил сенатор. Это было верно: все благотворительные мероприятия Элиота в Розуотере обошлись дешевле, чем пребывание в лечебнице.

Мак-Алистер сказал Элиоту, что прибыли Фонда составляют около трех с половиной миллионов долларов, и Элиот попросил у него ручку и чековую книжку. Он выписал на имя своего родственника, Фреда Розуотера, чек на миллион долларов.

Сенатор и Мак-Алистер страшно всполошились, стали объяснять Элиоту, что уже предлагали Фреду покончить дело миром за некоторую мзду, но Фред через своего адвоката высокомерно отказался.

– Им требуется всё, целиком, – сказал сенатор.

– Жаль, жаль, – сказал Элиот, – потому что, кроме этого чека, им ничего не достанется.

– Это решит суд, а что именно скажет суд, одному Богу известно, – предупредил его Мак-Алистер. – Кто знает, кто знает...

– Но если бы у меня был ребенок, – спросил Элиот, – разве тогда понадобился бы какой-то суд? Ведь мой ребенок автоматически унаследовал бы капиталы Фонда, а сумасшедший я или нет, совершенно все равно. Причем Фред настолько дальний наш родич, что не имел бы никаких прав при прямом наследнике.

– Правильно, – подтвердил Мак-Алистер.

– Между прочим, целый миллион – слишком много для этой род-айлендской свиньи, – сказал сенатор.

– Сколько же ему дать?

– Сто тысяч долларов хватит с головой.

Элиот порвал чек на миллион и выписал новый чек – сумма была в десять раз меньше. Взглянув на окружающих, он увидел, что все поражены – до них только что дошел смысл его слов.

– Элиот... – Голос у сенатора дрогнул. – Ты... ты хочешь сказать, что у тебя есть ребенок?

Улыбка Элиота походила на улыбку мадонны.

– Да.

– Где он? От кого?

Элиот мягким жестом остановил его:

– Терпение! Не все сразу!

– Значит, я – дед! – Сенатор поднял голову к небу, словно благодаря Творца.

– Мистер Мак-Алистер, – сказал Элиот. – Обязаны ли вы по закону выполнять любую юридическую операцию по моему поручению, несмотря на возражения моего отца или кого-нибудь другого?

– Как юрисконсульт Фонда я обязан выполнить все ваши поручения.

– Отлично. Тогда я попрошу вас составить документ, где будет сказано, что все дети в округе Розуотер, которых приписывают мне, – мои дети, независимо от группы крови. Пусть они получают все законные права, как мои наследники, как мои дочери и сыновья.

– Элиот!

– Пусть они с этого дня носят фамилию Розуотер. Передайте всем им, что отец их любит и всегда будет любить, кем бы они ни стали. И еще скажите им...

Элиот умолк, потом высоко, как волшебный жезл, поднял теннисную ракетку.

– И скажите им, – начал он снова, – скажите: «Плодитесь и размножайтесь!»

*КОНЕЦ*

---

notes
-------

## Примечания

**1**

Лич – пиявка (*англ.*).

«Из многих единое» (*лат.*) – девиз штата Нью-Йорк и США.



Счастливого пути (*фр.*).

Торстейн Веблен (1857–1929) – американский экономист и социолог.

Дэниэл Бун – персонаж американского фольклора.

Пит Мондриан (1872–1944) – известный нидерландский художник-абстракционист.

Эвондейл – долина Эвона – реки в Стрэтфорде-на-Эвоне, родине Шекспира.

Гэри Грант – известный киноактер.

9

Название пародирует начало американского гимна.